

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

ХРЕСТОМАТИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3-4
классы



ХРЕСТОМАТИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ

(для 3-4-х классов)



Художник
Геннадий Соколов

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

МЕДВЕДЬ-ПОЛОВИНЩИК

Жил-был мужичок в крайней избе на селе, что стояла подле самого леса. А в лесу жил медведь и, что ни осень, заготавливал себе жильё, берлогу, и залегал в неё с осени на всю зиму; лежал да лапу сосал. Мужичок же весну, лето и осень работал, а зимой щи и кашу ел да квасом запивал. Вот и позавидовал ему медведь; пришёл к нему и говорит:

– Соседушка, давай задружимся!

– Как с вашим братом дружить: ты, Мишка, как раз искалечишь! – отвечал мужичок.

– Нет, – сказал медведь, – не искалечу. Слово моё крепко – ведь я не волк, не лиса: что сказал, то и сдержу! Давай-ка станем вместе работать!

– Ну ладно, давай! – сказал мужик.

Ударили по рукам.

Вот пришла весна, стал мужик соху да борону ладить, а медведь ему из лесу вязки выламывает да таскает. Справив дело, оставив соху, мужик и говорит:

– Ну, Мишенька, впрягайся, надо пашню подымать.

Медведь впрягся в соху, выехали в поле. Мужик, взявшись за рукоять, пошёл за сохой, а Мишка идёт впереди, соху на себе тащит. Прошёл борозду, прошёл другую, прошёл третью, а на четвёртой говорит:

– Не полно ли пахать?

– Куда тебе, – отвечает мужик, – ещё надо дать концов десятка с два!

Измучился Мишка на работе. Как покончил, так тут же на пашне и растянулся.

Мужик стал обедать, накормил товарища, да и говорит:

– Теперь, Мишенька, соснём, а отдохнувши, надо вдругорядь перепахать.

И в другой раз перепахали.

– Ладно, – говорит мужик, – завтра приходи, станем боронить и сеять репу. Только уговор лучше денег. Давай наперёд положим, коли пашня уродит, кому что брать: всё ли поровну, всё ли пополам, или кому вершки, а кому корешки?

– Мне вершки, – сказал медведь.

– Ну ладно, – повторил мужик, – твои вершки, а мои корешки.

Как сказано, так сделано: пашню на другой день заборонили, посеяли репу и сизнова заборонили.

Пришла осень, настала пора репу собирать. Снарядились наши товарищи, пришли на поле, повытаскали, выбрали репу: видимо-невидимо её.

Стал мужик Мишкину долю – ботву срезать, вороха навалил с гору, а свою репу на возу домой свёз. И медведь пошёл в лес ботву таскать, всю перетаскал к своей берлоге. Присел, попробовал, да, видно, не по вкусу пришлась!..

Пошёл к мужику, поглядел в окно; а мужик напарил сладкой репы полон горшок, ест да причмокивает.

«Ладно, – подумал медведь, – вперёд умнее буду!»

Медведь пошёл в лес, залёг в берлогу, пососал, пососал лапу да с голодухи заснул и проспал всю зиму.

Пришла весна, поднялся медведь, худой, тощий, голодный, и пошёл опять набиваться к соседу в работники – пшеницу сеять.

Справили соху с бороной. Впрягся медведь и пошёл таскать соху по пашне! Умаялся, упарился и стал в тень.

Мужичок сам поел, медведя накормил, и легли оба соснуть. Выспавшись, мужик стал Мишку будить:

– Пора-де вдругорядь перепахивать.

Нечего делать, принялся Мишка за дело! Как кончили пашню, медведь и говорит:

– Ну, мужичок, уговор лучше денег. Давай условимся теперь: на этот раз вершки твои, а корешки мои. Ладно, что ли?

– Ладно! – сказал мужик. – Твои корешки, мои вершки!

Ударили по рукам. На другой день пашню заборонили, посеяли пшеницу, прошли по ниве бороной и ещё раз тут же помянули, что теперь-де медведю корешки, а мужичку вершки.

Настала пора пшеницу убирать; мужик жнёт не покладая рук; сжал, обмолотил и на мельницу свёз. Принялся и Мишка за свой пай: надёргал соломы с корнями целые вороха и пошёл таскать в лес к своей берлоге. Всю солому переволок, сел на пенёк отдохнуть да своего труда отведать. Пожевал соломки – нехорошо!

Пожевал корешков – не лучше того! Пошёл Мишка к мужику, заглянул в окно, а мужичок сидит за столом, пшеничные лепёшки ест, бражкой запивает да бороду утирает.

«Видно, уж моя такая доля, – подумал медведь, – что из моей работы проку нет: возьму вершки – вершки не годятся; возьму корешки – корешки не едятся!»

Тут Мишка с горя залёг в берлогу и проспал всю зиму, да уж с той поры не ходил к мужику в работу. Коли голодать, так лучше на боку лежать.

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ

В одной деревне жили-были братья: двое умных, а третий Емелюшка-дурачок. Собрались как-то раз старшие братья в дальний город, на ярмарку, и говорят Емеле:

– Ты, Емеля, не ленись, на печке не залёживайся, наших жён во всём слушайся. За это мы тебе подарки привезём: новые сапоги, кафтан да ещё шапку красную.

– Ладно, – отвечает Емеля, – буду слушаться!

Попрощались братья и уехали.

Немного погодя невестки говорят:

– Сходи-ка, Емелюшка, на речку по воду – у нас воды нет.

А Емеля им с печки:

– Неохота мне!

– Как так неохота? А кто обещал помогать нам?

– Ну ладно!

Слез Емеля с печки, обулся, накинул зипунишко, засунул за пояс топор, взял вёдра на коромысло и пошёл. Спустился он с горки к реке, стал лёд вокруг проруби обкалывать. Глядь – всплыла большая щука. Изловчился Емеля, схватил щуку за хвост и вытащил из проруби.

Говорит ему щука человеческим голосом:

– Зачем ты, дурак, меня поймал?

– Как – зачем? Отнесу тебя невесткам: они уши наварят, меня накормят.

Стала щука упрашивать Емелю:

– Не губи меня, Емелюшка, отпусти в речку. Я тебя за это богатым сделаю!

– Не хочу, – отвечает Емеля, – я и без твоего богатства проживу.

– Ну, тогда сделаю так, что всё по твоему слову будет исполняться. Только скажи: «По щучьему веленью, по моему хотенью».

– Вот это дело! – говорит Емеля.

Бросил он щуку в прорубь и молвил:

– По щучьему веленью, по моему хотенью, зачерпнитесь, вёдра, да ступайте в избу сами!

Только успел вымолвить – вёдра сами зачерпнулись и зашагали в горку. Идут, как утки, вперевалочку. А Емеля вслед за ними шагает да посмеивается.

Увидели это соседи – диву дались, из дворов, из домов повыбежали.

– Глядите-ка, – говорят, – глядите, какие штуки Емеля выкидывает! У него вёдра сами идут, не спотыкаются и воду не расплёскивают!

Невестки Емелю увидели – шептаться стали:

– Какой же он дурачок? Вишь, какой хитрый: заставил вёдра идти!



Русская народная сказка
«По щучьему веленью»

Поравнялись вёдра с избой, по ступенькам на крыльцо взошли – ни капли не расплескали, сами на лавочку стали. А Емеля разделся, разулся, на печку взобрался и говорит:

– Эй, невестки! Печка-то остыла, не греет!

– Оттого и не греет, что не топлена. Съезди- ка в лес, наруби дров, тогда и печку вытопим.

– Неохота мне!

– Ах, опять тебе неохота? Ну, тогда и подарков тебе не видать, и на холодной печке сидеть!

Нечего делать. Слез Емеля с печки, оделся и пошёл во двор, стал в лес по дрова собираться.

Вытащил сани, бросил в них топор, пилу, верёвку длинную и сам в них уселся.

– Эй, – кричит, – невестки! Открывайте ворота пошире: я в лес еду!

– Что ты! – говорят невестки. – В уме ли ты? Лошадь не запряг, а уже в лес едешь. Давай мы тебе поможем запрячь!

А Емеля им в ответ:

– Зачем лошадь гонять? Мне её жалко! Я и без лошади съезжу! Открывайте ворота!

Подивились невестки, но ворота открыли. Тут Емеля и шепнул:

– По щучьему веленью, по моему хотенью, бегите, сани, в лес сами!

Сани и побежали, словно кто подстегнул их в три кнута, – только снег под полозьями скрипит! Едут сани через сёла, через деревни, оглобли по сторонам мотаются – забыл Емеля подвязать их.

А в селе в ту пору людно было – праздник справляли. Бегут люди за санями и сзади и с боков, так под сани и кидаются. Охота им поглядеть, как это сани без лошади едут. А оглобли их всех в стороны расшвыривают. Многих с ног посбивали, в сугробы раскидали. Всполошились все, погнались за Емелей: хотели схватить, назад воротить, да не догнали.

Прибежали сани в лес, остановились. Вышел Емеля из саней, огляделся по сторонам и молвил:

– По щучьему веленью, по моему хотенью, ты, пила, деревья пили, да какие посуше выбирай, ты, топор, дрова руби, а вы, дрова, сами под топор становитесь, сами на сани укладывайтесь да верёвкой обвязывайтесь!

Так всё по его слову и случилось. Пила деревья пилит-валит, топор дрова рубит, а дрова сами к саням бегут, сами укладываются. Улеглись, крепко-накрепко верёвкой обвязались: можно в деревню назад ехать!

Подвязал Емеля оглобли, чтоб людей по пути не сбивать, уселся на воз и крикнул:

– По щучьему веленью, по моему хотенью, бегите, сани, домой сами!

Сани и побежали, только снег взвился.

А в селе люди уже поджидают Емелю – кто с рогачами, кто с ухватами, кто с палками да кольями, кто с верёвками. Хотят схватить-наказать Емелю: зачем он всех напугал да с ног посбивал, когда в лес ехал! Как завидели его, стали было петли накидывать, ухватами цеплять да кричать: «Держи его! Лови его! Хватай его!» Да куда там «лови-хватай»! Разве его удержишь? Сани бегут, снежок след замечает.

Подкатали сани к своим воротам и стали. Поленья с воза соскочили и побежали: какие во двор – в поленницу укладываются, какие – по крылечку, в избу да прямо в печку. Так полено через полено и скачут. А топор с пилой вошли – сами под лавку легли, растянулись.

Невестки перепугались – не знают, что и думать, что и делать. Стали со страху метаться, прятаться – какая под стол, какая на полати.

– Мы, – кричат, – будем братьям на тебя жаловаться!

А Емеля над ними посмеивается:

– Эки вы пугливые! Вылезайте-ка скорее да накормите-ка меня щами: я в лесу весь прозяб!

В то время как Емеля щи хлебал да на печи лежал, люди побежали к царю, стали жаловаться: есть в такой-то деревне Емеля-дурачок, он без лошади на санях ездит, всех пугает, с ног сбивает, в сугробы загоняет.

Любопытно стало царю – кто таков Емеля? Послал царь своего вельможу привести к нему Емелю на ответ.

Приехал царский вельможа в деревню, да не один, а со слугами. Нашёл Емелину избу. Вошёл и давай грозить да кричать:

– Где тут Емеля-дурак? Подавайте его сюда!

Невестки с перепугу за печку забились, боятся показаться, не смеют слова вымолвить. Один Емеля не испугался.

– Здесь я, – говорит, – на печке сижу да на тебя гляжу. Что тебе надобно?

– Одевайся, дурак! Обувайся, дурак! Повезу тебя, дурак, к самому царю!

– А мне неохота.

– Ах, так! Ты ещё разговариваешь!

Подскочил царский вельможа к Емеле и ударил его по щеке наотмашь.

– Хватайте, – кричит, – его силой!

Не понравилось это Емеле. Он и шепнул:

– По щучьему веленью, по моему хотенью, ну-ка, дубинка, угости незваного гостя сахаром! А ты, помело, почисти его!

Поднялась тут дубинка, выскочило помело и давай царского вельможу охаживать да оглаживать. Он и ругаться перестал: охает, подпрыгивает, пригибается, милости просит.

Бросился царский вельможа со своими слугами из избы и побежал – только пятки засверкали. А дубинка и помело не отстают, милости не дают – и по спине, и по плечам оглаживают. Так до самого царского дворца и проводили. Приполз вельможа к царю на карачках и говорит:

– Так и так! Силой его не взять, надобно хитростью...

Послал царь за Емелей другого посланца: чином поменьше, разумом побольше. Набрал посланец пряников медовых, орехов да леденцов и поехал к Емеле.

Приехал он в деревню, разыскал Емелиных невесток, стал у них выспрашивать:

– Чего ваш Емеля любит и чего не любит?

Невестки говорят:

– Не любит он, чтоб с ним грубо говорили, любит, чтоб честью просили.

Вошёл царский посланец в избу, подошёл к печке, поклонился низко и говорит:

– Здравствуйте, Емельян Иваныч! Покушайте пряничков, орешков да леденчиков и поезжайте со мною к царю. Любопытно царю на вас посмотреть!

– А мне неохота с печки слезать! – отвечает Емеля.

– Поедьте, Емельян Иваныч! Не поедете – мне царь жизни не даст, голову из-за вас срубит!

Пожалел Емеля царского посланца.

– Ну, будь по-твоему, – говорит, – поеду. Только ты вперёд поезжай, дорогу очищай, а я вслед за тобой буду.

Посланец царский тихонько спрашивает у невесток:

– Не обманет ли меня дурак?

– Не обманет, – отвечают невестки, – он у нас не такой. Он что скажет, непременно сделает!

Уехал царский посланец. А Емеля потягивается на печке и говорит:

– Не хочу с тёплой печки слезать! На дворе метель да стужа... Зипунишко у меня – дырка на дырке, заплатка на заплатке... А ну-ка, печка, по щучьему веленью, по моему хотенью, поезжай к царю!

Тут печка заворочалась, крякнула, выпросталась из избы и пошла. Через поля пошла, через луга, через сёла, через деревни. Царского посланца и догнала, и перегнала. Идёт печка, никуда не сворачивает, из трубы дым валит, а

Емеля за трубой сидит, песни поёт. Пришла печка прямо в столицу, прямо к царскому дворцу. Вся столица взбудоражилась: люди пальцами кажут, галдят, собаки лают, лошади ржут, петухи поют...

Побежали слуги к царю:

– Выходи скорее, царь-государь! Емеля-дурачок к тебе на печке приехал!

Вышел царь на крыльцо со своей дочкой, с боярами да вельможами. Стал он выпрашивать Емелю:

– По какому праву ты на санях без лошади едешь? По какому праву моих подданных пугаешь да с ног сбиваешь?

А Емеля ему в ответ:

– Чем я виноват? Они не сторонились, сами под сани кидались. Ты бы стоял – и тебя бы замял!

Разгневался царь, приказал стащить Емелю с печи, кнутом его бить да в острог посадить. Видит Емеля – добра здесь не ждать – и шепнул тихонько:

– По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай, печка, обратно. А ты, царская дочка, крепко в меня влюбись да замуж за меня просись!

Повернулась печка назад и пошла. Царь было: «Хватайте его, с печи тащите, верёвками вяжите!» – да куда там: приехал Емеля – не здоровался, уехал – не простился.

Пришла печка, крякнула, в угол стала, будто весь век там стояла, будто никуда и не выходила.

А в царском дворце крик да слёзы. Царская дочка к отцу пристаёт, покою ему не даёт:

– Зачем Емеле грозили? Зачем Емелю стращали? Я без него жить не могу. Замуж за него хочу!

Царь и кричал, и кулаками стучал, и ногами топал – ничего поделать не мог: царевна день и ночь плачет, глаз не закрывает, не ест, не пьёт, не спит – извелась вся. Нечего делать, приказал царь привезти Емелю.

– Только, – говорит, – не на печке – с печи его не стащить. Везите в санях. Тут мы с ним и разделаемся!

Поскакал в деревню хитрый царский посланец, обманул Емелю лукавыми словами, опоил сонным зельем, связал крепко-накрепко верёвками, бросил в сани и поскакал что было мочи.

Привёз он Емелю к царю, а у царя была уже приготовлена большая бочка. Схватили слуги Емелю, посадили в бочку. А царица углядела это. Выбежала, ухватилась за бочку обеими руками – не оторвать.

– Куда Емеля, туда и я! – кричит.

Царь в гневе и разум потерял – приказал и царицу в бочку посадить:

– Коли ей дурак так люб, пусть и пропадает с ним вместе!

Так, по царскому слову, и сделали. Набили на бочку крепкие обручи железные, засмолили и в море пустили. Поплыла бочка по волнам...

Развязала царица Емелю, стала его будить:

– Что ты спишь, Емелюшка! Проснись! Мы ведь в бочке сидим, в океан-море брошены. Не пивши, не евши с голоду помрём!

Емеля говорит:

– Я спать хочу.

– Ия хочу, да не до сна теперь! Выкати бочку на берег. Ты ведь умный, всё можешь!

– Ну, будь по-твоему, – говорит Емеля. – По щучьему веленью, по моему хотенью, выкатись, бочка, на зелёные луга, на жёлтые пески и разорвись!

Не успел вымолвить, бочка выкатилась на остров и разорвалась. Вышли они на зелёные луга, на жёлтые пески.

Царица огляделась кругом и говорит:

– Емелюшка, а как же мы жить будем? Здесь, гляди, ни села, ни города. Нам бы хоть избушку маленькую...

– Будет у нас и не избушка, – отвечает Емеля. – А нука, по щучьему веленью, по моему хотенью, постройся, дворец, да лучше царского!

Только сказал – дворец уж и готов, будто из земли вырос. Стоит на семи столбах, весь чудно-дивно изукрашен: крыши серебряные, маковки золотые, во все стороны крылечки сходятся-расходятся. А вокруг дворца и сады, и пруды, и пристройки разные. В садах соловьи поют, по прудам гуси-лебеди плавают.

Вошли они во дворец, а в палатах ещё дивнее: по потолку красное солнышко ходит; солнышко уйдёт – ясный месяц, частые звёзды появляются...

Стали они жить на острове, во дворце, всего у них вдоволь, только скучно: живых людей нет.

– Хоть бы повидать кого родных, – просит царевна.

– Ладно! – говорит Емеля. – По щучьему веленью, по моему хотенью, перекинься поперёк моря мост чугунный! А по мосту пусть к нам братья с жёнами приедут!

Только слово сказал, глядь – через море мост перекинулся. Перила у моста золотые, на столбиках каменья самоцветные – так и сверкают! А по мосту телега едет, на телеге братья с жёнами сидят. Все в новых рубахах, в новых сарафанах – как цветы цветут! Стали Емелю обнимать, целовать.

– Мы, – говорят, – с ног сбились, всё тебя, дурня, искали и лес и болото исходили. А ты вон где!

Вдруг слышат – пушки палят. Пристал к острову корабль, а на корабле царь со всею свитой. Спрашивает Емеля:

– Куда, корабельщики, путь держите?

– Да вот которые сутки по морю ездим, бочку ищем.

– А зачем вам бочка?

– Как – зачем? – отвечает царь. – В ней дочка моя да Емеля-дурачок. Лишился я разума, погубить их хотел...

Емеля говорит:

– А ну-ка, погляди на меня получше: не я ли это к тебе на печке приезжал?

Царь глянул – до смерти перепугался. Бух Емеле в ноги:

– Прости, Емелюшка, не вели казнить...

– Ладно, – говорит Емеля, – так и быть, прошу тебя в этот раз!

Тут и царская дочка вышла.

– Пожалуйте, – говорит, – к нам во дворец!

Уселись все за столы дубовые, за скатерти узорчатые, стали на радости есть, пить да песни петь.

И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало!

СЕМИЛЕТКА

Жил-был старик, было у него два сына. Надумал старик сыновей отделить. Старшему почти всё своё добро отдал, а младшему – избу разваленную да худую кобылёшку. И стали два брата жить: старший в богатстве да довольстве, а младший в бедности. Однако бедный и в нужде не унывает: избу починил, кобылёшку выкормил, выхилил; стала лошадь хоть куда и ожеребиться должна была летом. Ждёт бедняк, и всё его семейство ждёт, когда жеребёнок появится.

Вот подошла сенокосная пора, надо сено косить да возить, а телеги-то у бедного нету. Что будешь делать? Пошёл к богатому брату:

– Дай, братец, телегу, сено с луга перевозить!

– Ладно, – говорит богатый, – дам тебе телегу, только ты за это и моё сено перевези.

Согласился бедный – деваться-то ему некуда. Запряг кобылу, поехал на луг. Стал он возить сено. Со своим управился – за братово принялся. До самой ночи возил, а как совсем стемнело, думает: «Останусь-ка я здесь, переночую под копной, а завтра чуть свет остальное перевезу». Выпряг кобылу, лёг под копну и заснул.

Кобыла-то ночью и ожеребилась, а жеребёнок под телегу залез.

Утром, ни свет ни заря, пришёл на луг богатый брат: нужно ему поглядеть, как бедный его сено возит.

Глянул он под телегу и увидел жеребёнка.

«Ну, – думает, – проведу я братца!»

Растолкал он бедного и говорит:

– Эге, брат, у меня прибыль: телега ожеребилась! Смотри, какого жеребёночка принесла!

– Что ты, брат! – говорит бедный. – Или смеёшься? Да как это можно, чтоб телега жеребёнка принесла? Это моя кобылка ожеребилась!

А старший брат в ответ:

– Кабы твоя кобыла принесла жеребёнка, был бы он подле неё. А коли он под моей телегой лежит, значит, мой он!

Бедный своё доказывает, богатый – своё.

Спорили они, спорили, порешили судиться: пусть судьи разберут, кто прав, кто неправ.

Старший брат судей деньгами задарил, а бедный только словами свою правоту доказывает.

Судьи выслушали и говорят в один голос:

– Вот какое нашего суда решение: телега жеребёнка принесла. Стало быть, надо жеребёнка старшему брату отдать!

Как ни доказывал бедный, не мог своей правоты доказать. Говорит он судьям:

– Не признаю вашего несправедливого суда решение! Пойду к самому царю, буду ему челом бить!

Пришёл к царю, поклонился ему в ноги, рассказал, как судьи криво судили. Выслушал царь мужика и приказал привести старшего брата. Привели его.

– Твой жеребёнок? – спрашивает царь.

– Мой, ваше царское величество! Так и судьи праведные постановили.

А бедный брат и здесь не унимается, своё доказывает. Вот царь и говорит:

– Задам я вам четыре загадки. Кто отгадает, того и жеребёнок будет. Первая загадка: что на свете всего жирнее? Вторая загадка: что на свете всего сильнее? Третья загадка: что на свете всего быстрее? Четвёртая загадка: что на свете всего мягче? Идите думайте.

Пришёл богатый брат домой сердитый. Уселся на лавку, стал думать. А думать-то и не умеет, только фырчит. Вот жена и спрашивает его:

– Чего это ты такой невесёлый?

– Будешь невесёлый, когда царь мудрёные загадки загадал! Отгадай попробуй!

– А какие загадки?

Рассказал ей муж. Жена говорит:

– Нам самим всё равно не додуматься. Ступай к куме. Она баба острая – всё знает, всё понимает.

Пошёл богатый к куме.

– Так и так, – говорит, – выручай, кума, из беды! Ты всё знаешь, всё понимаешь.

– А что у тебя за беда?

– Да вот задал мне царь четыре загадки, а на отгадки-то дал всего три дня сроку. Уж я думал-думал, голову сломал, а отгадать не мог.

– Какие же это загадки? Говори скорее!

– Первая царская загадка: что на свете всего жирнее?

– Экая загадка, подумаешь! Да у нас рябой боров есть – такой жирнуций, жирнее нигде не найдёшь! Весь жиром заплыл и на ноги не поднимается.

– Вторая загадка: что на свете всего сильнее?

– И эта загадка не мудра! Сильнее всех на свете медведь: он и корову задерёт, и ёлку с корнями из земли вывернет. Кто же сильнее его!

– Третья загадка: что на свете всего быстрее?

– Ну, здесь и думать нечего! У моего мужа такой жеребец – нет его быстрее! Плёткой ударишь – зайца перегонит!

– Четвёртая загадка: что на свете всего мягче?

– А всего мягче на свете, кум, известное дело – мой пуховик: как ляжешь, так потонешь!

Обрадовался богатый брат, стал благодарить куму:

– Спасибо тебе, кума, научила ты меня уму-разуму! Век не забуду! Недаром люди говорят, что ты всё знаешь, всё понимаешь!

Пришёл домой и младший брат. Сел на лавку, облокотился на стол, рассказал жене, какие загадки ему царь загадал. Заплакала жена:

– Где тебе такие мудрёные загадки отгадать! Отнимут у нас жеребёнка!..

Тут подошла дочка-семилетка и говорит:

– Не горюй, батюшка! Я за тебя эти загадки отгадаю. А ты ложись да спи спокойно! Утро вечера мудренее!

Послушался отец своей дочки, лёг спать. Утром будит его семилетка:

– Вставай, батюшка, иди к царю!

– Да с чем же я пойду к нему?

– С отгадками пойдёшь! Как придёшь, скажи: жирнее всего матушка сырая земля, всех нас она кормит, на всех у неё щедрости хватает. Сильнее всего вода: ничем не удержишь её, не остановишь. Быстрее всего мысли наши: вмиг весь мир облетят. А мягче всего рука наша: как ни мягка будет подушка, всё руку под голову подкладываешь!

– Спасибо тебе, дочка! Мудрые твои отгадки. Только как-то царь их примет!

– Ничего не бойся, смело ступай!

Приходят в назначенный срок оба брата к царю. Богатый – надутый да важный: отгадал загадки; бедный – с сомнением: как-то ещё дело повернётся. Вышел царь к братьям со своими боярами да вельможами и спрашивает:

– Ну, разгадали вы мои загадки?

Старший брат весело да бойко отвечает:

– Разгадали, ваше царское величество!

– Ну, коли разгадали, отвечайте по порядку – сперва старший, потом младший.

Вот старший и говорит:

– Жирнее всего на свете рябой боров у моей кумы, ваше царское величество: весь он жиром заплыл и на ноги уж не поднимается!

– Дальше говори!

– Сильнее всех на свете медведь: вот какие ёлки с корнями выворачивает! Быстрее всего на свете карий жеребец у моей кумы: настегай его – он зайца перегонит. А мягче всего у кумы пуховик – как ляжешь, так потонешь!

Усмехнулся царь и молвил:

– Теперь ты, младший, говори!

Бедный ответил всё, как его дочка научила.

Выслушал царь его ответы и спрашивает:

– Сам ли ты ответы нашёл или кто тебя научил?

Бедный скрывать не стал, отвечает:

– Научила меня моя дочка-семилетка.

– Ну, коли твоя дочка такая мудрая, – говорит царь, – пусть она моё приказание выполнит! Вот тебе ниточка – пусть она из этой ниточки завтра к утру соткёт мне полотенце узорчатое!

Что делать? Спорить с царём не станешь! Взял бедный ниточку, пошёл домой. Приходит домой кручинный да печальный, ниже плеч голову опустил. Подбежала к нему дочка и спрашивает:

– Что ты, батюшка, невесел? Или мои отгадки неверные были?

– Нет, дочка, отгадки твои правильные. Только новая беда на нас свалилась. Приказал царь из этой ниточки соткать ему к утру полотенце узорчатое...

Засмеялась семилетка и говорит:

– Не печалься, батюшка! Царь мне свой приказ прислал, а я ему свой пошлю!

Отломила она прутик от метлы и говорит:

– Ступай к царю и скажи: пусть он из этого пруточка смастерит мне станок ткацкий – тогда и узорчатое полотенце ему к утру вытку!

Пошёл бедный к царю, подал ему прутик:

– Просит дочка из этого прутика станок ткацкий ей смастерить – тогда, говорит, и полотенце будет.

Взглянул царь на прутик и молвил:

– Ладно, полотенце мне не нужно! Другой приказ от меня будет: вот ей полтора ста печёных яиц – пусть выведет мне завтра к утру полтора ста цыплят.

Взял бедный лукошко с яйцами, пошёл домой. Воротился ещё кручиннее, ещё печальнее. Спрашивает его семилетка:

– Что, батюшка, невесел? Или какая новая забота появилась?

– Ах, дочка! Как не забота! От одной беды избавились, другая навязалась: приказал царь из печёных яиц вывести ему к утру полтора ста цыплят...

Усмехнулась семилетка и говорит:

– Нечего, батюшка, печалиться! Давайте-ка сядем все за стол да будем печёные яйца есть!

Как поели они, семилетка сварила в чугушке пшённой каши и говорит отцу:

– Ступай к царю и скажи: пусть посеет эту кашу и вырастит завтра к утру просо, сожнёт его да обмолотит. Цыплята, скажи, в одну ночь будут выведены, и пшено для них надобно в одну ночь вырастить. Другого корма они клевать не станут!

Пошёл бедный к царю, подал ему чугунок каши и сказал всё, как семилетка велела.

– Не нужны мне цыплята, – говорит царь. – А раз твоя семилетка так хитра да мудра, пусть наутро сама ко мне явится – не одетая, не раздетая, не пешком, не в повозке, не верхом, не с подарком, не без подарка!

Пошёл бедный домой. «Ну, – думает, – такой хитрой

задачи и моя семилетка не разрешит. Видно, придётся нам совсем пропадать!»

Пришёл он и рассказал всё, что царь требует.

– Не печалься, батюшка, – говорит семилетка. – Царь мудрит, и мы не хуже его: ещё помудрёнее придумаем! Достань ты мне зайца да поймай воробья.

Достал бедный у охотника зайца, изловил в коноплях воробья.

На другой день поутру сбросила семилетка свою одежду и накинула на себя старую рыбацью сеть. Вот она и не одета, и не раздета! После того села она боком на козла, одну ногу на землю опустила, взяла зайца да воробья и отправилась к царю во дворец.

А царь её уже дожидается – стоит у окна, смотрит. Как увидел, приказал собак борзых выпустить – пусть они её встретят!

Выпустили псари борзых. Забрехали собаки, пустились навстречу семилетке, а она, не будь глупа, бросила зайца. Заяц поднял хвостик – да наутёк, а собаки за ним. Так все и убежали в поле.

Въехала семилетка во двор и говорит царю:

– Вот тебе, царь-государь, подарочек! – И подаёт ему воробья.

Царь протянул руки, хотел было воробья взять, а воробей – порх! – и был таков.

Видит царь, что и в этот раз семилетка перемудрила его.

– Хорошо, – говорит. – Как было приказано, так и сделала. Скажи-ка мне теперь, велика ли у вас семья и чем вас отец кормит?

– Семья у нас велика, – говорит семилетка, – а кормимся мы вот чем: отец мой в поле рыбу ловит, а мы её граблями сгребаем да уху из неё варим – тем и кормимся.

– Эка ты глупая! – говорит царь. – Да где это слыхано, чтобы рыба в поле водилась? Рыба в реке плавает!

– А ты умён? Как же ты поверил, что телега жеребёнка принесла? Жеребёнок от нашей кобылы родился!

Тут царь одумался и говорит:

– Отдайте жеребёнка бедному, не то его дочка совсем меня перед людьми опозорит!

Царское слово – строгий приказ. Отобрали жеребёнка у старшего брата, отдали младшему. Стал он доброго коня растить.

ОКАМЕНЕЛОЕ ЦАРСТВО

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат; служил он долго и безупречно, царскую службу знал хорошо, на смотры, на ученья приходил чист и исправен. Стал последний год дослуживать – как на беду, невзлюбило его начальство, не только большое, да и малое: то и дело под палками отдувайся!

Тяжело солдату, и задумал он бежать; ранец через плечо, ружьё на плечо и начал прощаться с товарищами, а те его спрашивать:

– Куда идёшь? Аль батальонный требует?

– Не спрашивайте, братцы! Подтяните-ка ранец покрепче да лихом не поминайте!

И пошёл он, добрый молодец, куда глаза глядят. Много ли, мало ли шёл – пробрался в иное государство, усмотрел часового и спрашивает:

– Нельзя ли где отдых взять?

Часовой сказал ефрейтору, ефрейтор офицеру, офицер генералу, генерал доложил про него самому королю. Король приказал позвать того служивого перед свои светлые очи.

Вот явился солдат, как следует – при форме, сделал ружьём на караул и стал как вкопанный. Говорит ему король:

– Скажи мне по совести, откуда и куда идёшь?

– Ваше королевское величество, не велите казнить, велите слово вымолвить.

Признался во всём королю по совести и стал на службу проситься.

– Хорошо, – сказал король, – наймись у меня сад караулить; у меня теперь в саду неблагополучно – кто-то ломает мои любимые деревья, так ты постарайся – сбереги его, а за труд дам тебе плату немалую.

Солдат согласился, стал в саду караул держать. Год и два служит – всё у него исправно; вот и третий год на исходе, пошёл однажды сад оглядывать и видит – половина что ни есть лучших деревьев поломана. «Боже мой! – думает сам с собою. – Вот какая беда приключилась! Как заметит это король, сейчас велит схватить меня и повесить».

Взял ружьё в руки, прислонился к дереву и крепко-крепко задумался.

Вдруг послышался треск и шум, очнулся добрый молодец, глядь – прилетела в сад огромная страшная птица и ну валить деревья. Солдат выстрелил в неё из ружья, убить не убил, а только ранил её в правое крыло; выпало из того крыла три пера, а сама птица наутёк пустилась. Солдат за нею; ноги у птицы быстрые, скорёхонько добежала она до провалища и скрылась из глаз.

Солдат не убоился и вслед за нею кинулся в то провалище, упал в глубокую-глубокую пропасть, отшиб себе все печёнки и целые сутки лежал без памяти. После опомнился, встал, осмотрелся, – что же? – и под землёй такой же свет. «Стало быть, – думает, – и здесь есть люди!»

Шёл, шёл, перед ним большой город, у ворот караульня, при ней часовой; стал его спрашивать – часовой молчит, не движется; взял его за руку – а он совсем каменный!

Взошёл солдат в караульню – народу много, стоят и сидят, только все окаменелые; пустился бродить по улицам – везде то же самое: нет ни единой живой души человеческой, все как есть камень! Вот и дворец расписной,

вырезной, марш туда, смотрит – комнаты богатые, на столах закуски и напитки всякие, а кругом тихо и пусто.

Солдат закусил, выпил, сел было отдохнуть, и послышалось ему – словно кто к крыльцу подъехал; он схватил ружьё и стал у дверей.

Входит в палату прекрасная царевна с мамками, няньками; солдат отдал ей честь, а она ему ласково поклонилась.

– Здравствуй, служивый! Расскажи, – говорит, – какими судьбами ты сюда попал?

Солдат начал рассказывать:

– Нанялся я царский сад караулить, и повадилась туда большая птица летать да деревья ломать; вот я подстерёг её, выстрелил из ружья и выбил у неё из крыла три пера; бросился за ней в погоню и очутился здесь.

– Эта птица – моя родная сестра; много она творит всякого зла и на моё царство беду наслала – весь народ мой окаменила. Слушай же: вот тебе книжка, становись вот тут и читай её с вечера до тех пор, пока петухи не запоют. Какие бы страсти тебе ни казались, ты знай своё – читай книжку да держи её крепче, чтоб не вырвали; не то жив не будешь! Если прстоишь три ночи, то выйду за тебя замуж.

– Ладно, – отвечает солдат.

Только стемнело, взял он книжку и начал читать. Вдруг застучало, загремело – явилось во дворец целое войско, подступили к солдату его прежние начальники, и бранят его, и грозят за побег смертью; вот уж и ружья заряжают, прицеливаются... Но солдат на то не смотрит, книгу из рук не выпускает, знай себе читает.

Закричали петухи – и всё разом сгнуло!

На другую ночь страшней было, а на третью и того пуще прежнего: прибежали палачи с пилами, топорами, молотами, хотят ему кости дробить, жилы тянуть, на огне его жечь, а сами только и думают, как бы книгу из рук вы-

хватить. Такие страсти были, что едва солдат выдержал. Запели петухи – и демонское наваждение сгнуло!

В тот самый час всё царство ожило, по улицам и в домах народ засуетился, во дворец явилась царица с генералами, и стали все благодарствовать солдату и величать его своим государем.

На другой день женился он на прекрасной царице и зажил с нею в любви и радости.

БЫЛИНЫ



ТРИ ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА

По чистому полю, по широкому раздолью ехал старый казак Илья Муромец и наехал на развилку трёх дорог. На развилке горяч-камень лежит, а на камне надпись написана: «Если прямо ехать – убиту быть, направо ехать – женату быть, а налево ехать – богатому стать». Прочитал Илья надпись и призадумался:

– Мне, старому, в бою смерть не писана. Дай поеду, где убиту быть.

Долго ли, коротко ли ехал он, выскочили на дорогу воры-разбойники. Три сотни татей-подорожников¹. Горланят, шалыгами размахивают:

– Убьём старика да ограбим!

– Глупые люди, – говорит Илья Муромец, – не убив медведя, шкуру делите!

И напустил на них своего коня верного. Сам копьём колот и мечом разил и всех разогнал душегубов-разбойников.

Воротился на развилку и стёр надпись: «Если прямо ехать – убиту быть». Постоял возле камня и повернул коня направо:

¹ Тать – разбойник, грабитель.

– Незачем мне, старому, женату быть, а поеду, погляжу, как люди женятся.

Ехал час либо два и наехал на палаты белокаменные.

Выбегала навстречу красна девица-душа. Брала Илью Муромца за руки, провела в столовую горницу. Кормила-поила богатыря, улещала:

– После хлеба-соли ступай опочив держать². В дороге небось умаялся! – Провела в особый покой, указала на перину пуховую.

А Илья, он смекалист, сноровист был, заприметил неладное. Кинул девицу-красу на перину, а кровать повернулась, опрокинулась, и провалилась хозяйка в подземелье глубокое. Выбежал Илья Муромец из палат во двор, разыскал подземелье то глубокое, двери выломал и выпустил на белый свет сорок пленников, женихов незадачливых, а хозяйку – красну девицу в тюрьму подземную запер крепко-накрепко.

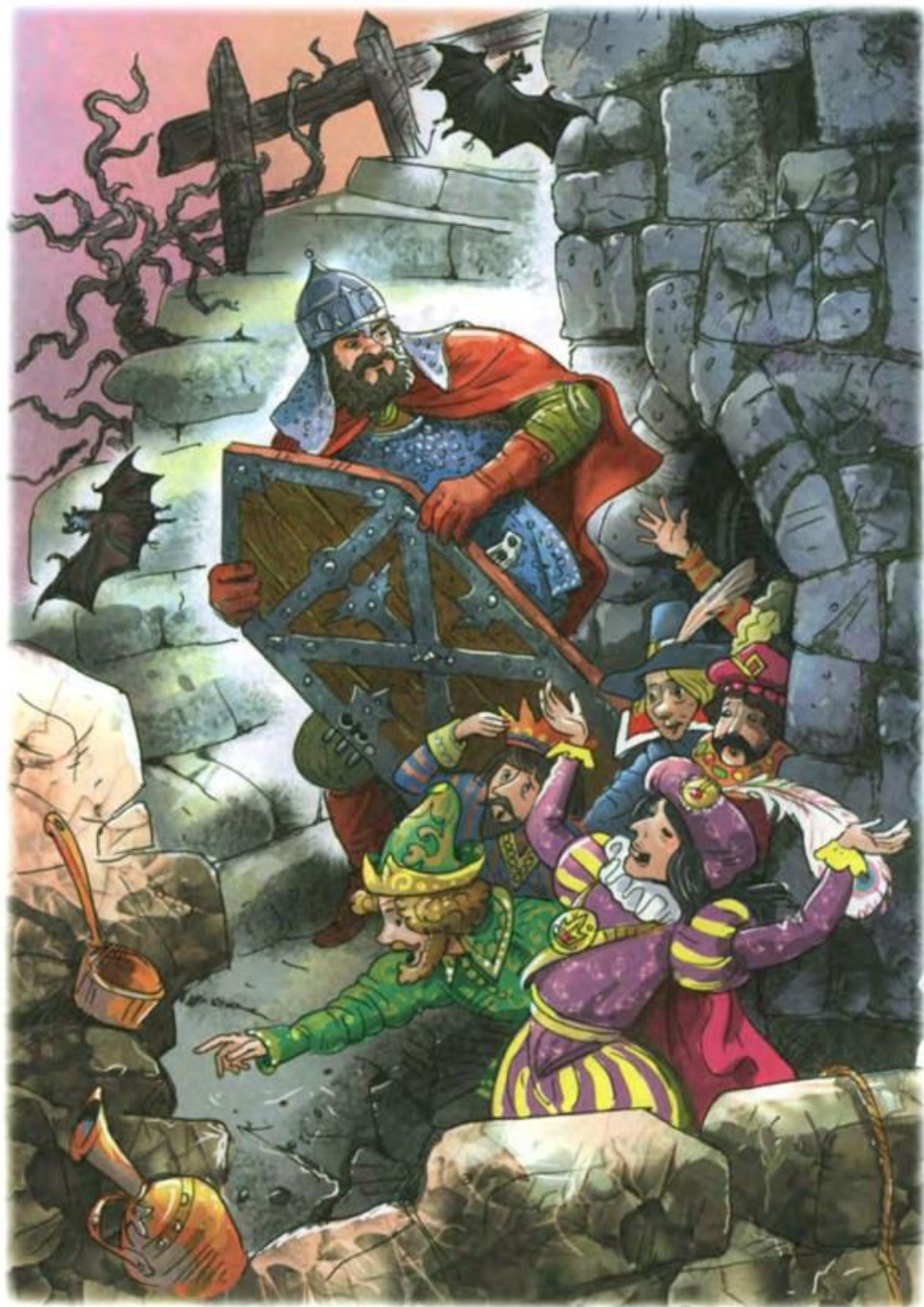
После того приехал на развилку и другую надпись стёр. И новую надпись написал на камени: «Две дорожки очищены старым казаком Ильёй Муромцем».

– В третью сторону не поеду я. Зачем мне, старому, одинокому, богатым быть? Пусть кому-нибудь молодому богатство достанется.

Повернул коня старый казак Илья Муромец и поехал в стольный Киев-град нести службу ратную, биться с врагами, стоять за Русь Великую да за русский народ!

На том сказ о славном, могучем богатыре Илье Муромце и окончился.

² Опочив держать – опочивать, спать, отдыхать.



Былина
«Три поездки Ильи Муромца»

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН-ЦАРЬ

Завёл князь Владимир почестей пир и не позвал Илью Муромца. Богатырь на князя обиделся; выходил он на улицу, тугой лук натягивал, стал стрелять по церковным маковкам серебряным, по крестам золочёным и кричал мужикам киевским:

– Собирайте кресты золочёные и серебряные церковные маковки, несите в кружало – в питейный дом. Заведём свой пир-столованье на всех мужиков киевских!

Князь Владимир стольно-киевский разгневался, приказал посадить Илью Муромца в глубокий погреб на три года. А дочь Владимира велела сделать ключи от погреба и потайно от князя приказала кормить, поить славного богатыря, послала ему перины мягкие, подушки пуховые.

Много ли, мало ли прошло времени, прискакал в Киев гонец от царя Калина. Он настезь двери размахивал, без спросу вбегал в княжий терем, кидал Владимиру грамоту посыльную. А в грамоте написано: «Я велю тебе, князь Владимир, скоро-наскоро очистить улицы стрелецкие и большие дворы княженецкие да наставить по всем улицам и переулкам пива пенного, медов стоялых да зелена вина, чтобы было чем моему войску угощаться в Киеве. А не исполнишь приказа – пеняй на себя. Русь я огнём покачу, Киев- город в разор разорю и тебя со княгиней смерти предам. Сроку даю три дня».

Прочитал князь Владимир грамоту, затужил, запечалился.

Ходит по горнице, ронит слёзы горячие, шелковым платком утирается:

– Ох, зачем я посадил Илью Муромца в погреб глубокий да приказал тот погреб засыпать жёлтым песком! Поди, нет теперь в живых нашего защитника? И других богатырей в Киеве нет теперь. И некому постоять за веру, за землю Русскую, некому стоять за стольный град, оборонить меня со княгиней да с дочерью!

– Батюшка-князь стольно-киевский, не вели меня казнить, позволь слово вымолвить, – проговорила дочь Владимира. – Жив-здоров наш Илья Муромец. Я тайком от тебя поила, кормила его, обихаживала. Ты прости меня, дочь самовольную!

– Умница ты, разумница, – похвалил дочь Владимир-князь.

Схватил ключ от погреба и сам побежал за Ильёй Муромцем. Приводил его в палаты белокаменные, обнимал, целовал богатыря, угощал яствами сахарными, поил сладкими винами заморскими, говорил таковы слова:

– Не сердчай, Илья Муромец! Пусть, что было между нами, быльём порастёт. Пристигла нас беда-невзгода. Подошёл к стольному городу Киеву собака Калин-царь, привёл полчища несметные. Грозится Русь разорить, огнём покатить, Киев-город разорить, всех киевлян в полон полонить, а богатырей нынче нет никого. Все на заставах стоят да в разьезды разъехались. На одного тебя вся надежда у меня, славный богатырь Илья Муромец!

Некогда Илье Муромцу прохладжаться, угощаться за княжеским столом. Он скорым-скоро на свой двор пошёл. Первым делом проведаль своего коня вещего. Конь, сытый, гладкий, ухоженный, радостно заржал, когда увидел хозяйина.

Паробку³ своему Илья Муромец сказал:

– Спасибо тебе, что холил коня, обихаживал!

И стал коня засёдлывать. Сперва накладывал потничек, а на потничек накладывал войлочек, на войлочек седло черкасское недержаное. Подтягивал двенадцать подпругов шелковых со шпенёчками булатными, с пряжками красна золота, не для красы, для угожества, ради крепости богатырской: шелковые подпруги тянутся, не рвутся, булат гнётся, не ломается, а пряжки красного золота не ржавеют.

³ Паробок – оруженосец, слуга.

Снаряжался и сам Илья в боевые доспехи богатырские. Палица при нём булатная, копьё долгомерное, подпоясывал меч боевой, прихватил шалыгу⁴ подорожную и выехал во чисто поле.

Видит, силы басурманской под Киевом многое множество. От крика людского да от ржания лошадиного унывает сердце человеческое. Куда ни посмотришь, нигде конца-краю силы – полчищ вражеских не видать.

Повыехал Илья Муромец, поднялся на высокий холм, посмотрел он в сторону восточную и увидел далеко-далече во чистом поле шатры белополотняные. Он направлял туда, понужал коня, приговаривал: «Видно, там стоят наши русские богатыри, о напасти-беде они не ведают».

И в скором времени подъехал к шатрам белополотняным, зашёл в шатёр наибольшего⁵ богатыря Самсона Самойловича, своего крёстного. А богатыри в ту пору обедали.

Проговорил Илья Муромец:

– Хлеб да соль, богатыри святорусские!

Отвечал Самсон Самойлович:

– А поди-ка, пожалуй, наш славный богатырь Илья Муромец! Садись с нами пообедать, хлеба-соли отведать!

Тут вставали богатыри на резвы ноги, с Ильёй Муромцем здоровались, обнимали его, троекратно целовали, за стол приглашали.

– Спасибо, братья крестовые. Не обедать я приехал, а привёз вести нерадостные, печальные, – вымолвил Илья Муромец. – Стоит под Киевом рать – сила несметная. Грозится собака Калин-царь наш стольный город взять да спалить, киевских мужиков всех повырубить, жён, дочерей во полон угнать, церкви разорить, князя Владимира со

⁴ Шалыга – посох.

⁵ Наибольший – самый главный.

Апраксией-княгиней злой смерти предать. И приехал к вам звать с ворогами ратиться!

На те речи отвечали богатыри:

– Не станем мы, Илья Муромец, коней седлать, не поедем мы биться-ратиться за князя Владимира да за княгиню Апраксию. У них много ближних князей да бояр. Великий князь стольно-киевский поит-кормит их и жалует, а нам нет ничего от Владимира со Апраксией Королевичной. Не уговаривай ты нас, Илья Муромец!

Не по нраву Илье Муромцу те речи пришлись. Он сел на своего добра коня и подъехал к полчищам вражеским. Стал силу врагов конём топтать, копьём колоть, мечом рубить да бить шалыгой подорожною. Бьёт-поражает без устали. А конь богатырский под ним заговорил языком человеческим:

– Не побить тебе, Илья Муромец, силы вражеской. Есть у царя Калина могучие богатыри и поляницы⁶ удалые, а в чистом поле вырыты подкопы глубокие. Как просядем мы в подкопы – из первого подкопа я выскочу и из другого подкопа повыскочу и тебя, Илья, вынесу, а из третьего подкопа я хоть выскочу, а тебя мне не вынести.

Те речи Илье не слюбились. Поднял он плётку шелковую, стал бить коня по крутым бёдрам, приговаривать:

– Ах ты собачище изменное, волчье мясо, травяной мешок! Я кормлю, пою тебя, обихаживаю, а ты хочешь меня погубить!

И тут просел конь с Ильёй в первый подкоп. Оттуда верный конь выскочил, богатыря вынес на себе. И опять принялся богатырь вражью силу бить, как траву косить. И в другой раз просел конь с Ильёй во глубокий подкоп. И из этого подкопа резвый конь вынес богатыря.

Бьёт Илья Муромец басурман, приговаривает:

– Сами не ходите и своим детям-внукам закажите ходить воевать на Русь Великую веки-повеки.

⁶ Поляницы – богатырки, наездницы.

В ту пору просели они с конём в третий глубокий подкоп. Его верный конь из подкопа выскочил, а Илью Муромца вынести не мог. Набежали враги коня ловить, да не дался верный конь, ускакал он далёко во чистое поле. Тогда десятки богатырей, сотни воинов напали в подкопе на Илью Муромца, связали, сковали ему руки-ноги и привели в шатёр к царю Калину. Встретил его Калин-царь ласково-приветливо, приказал развязать-расковать богатыря:

– Садись-ка, Илья Муромец, со мной, царём Калином, за единый стол, ешь, чего душа пожелает, пей мои питьица медвяные. Я дам тебе одёжу драгоценную, дам, сколь надобно, золотой казны. Не служи ты князю Владимиру, а служи мне, царю Калину, и будешь ты моим ближним князем-боярином!

Взглянул Илья Муромец на царя Калина, усмехнулся недобро и вымолвил:

– Не сяду я с тобой за единый стол, не буду есть твоих кушаньев, не стану пить твоих питьёв медвяных, не надо мне одёжи драгоценной, не надобно и бессчётной золотой казны.

Я не стану служить тебе – собаке царю Калину! А и впредь буду верой и правдой защищать, оборонять Русь Великую, стоять за стольный Киев-град, за свой народ да за князя Владимира.

И ещё тебе скажу: глупый же ты, собака Калин-царь, коли мнишь на Руси найти изменников-перебежчиков!

Размахнул настезь дверь-занавесь ковровую да прочь из шатра выскочил. А там стражники, охранники царские тучей навалились на Илью Муромца: кто с оковами, кто с верёвками – ладятся связать безоружного.

Да не тут-то было! Поднатужился могучий богатырь, поднапружился: раскидал-разметал басурман и проскочил сквозь вражью силу-рать в чистое поле, в широкое раздолье.

Свистнул посвистом богатырским, и, откуда ни возъ-

мись, прибежал его верный конь с доспехами, со снаряжением. Выехал Илья Муромец на высокий холм, натянул лук тугой и послал калёну стрелу, сам приговаривал: «Ты лети, калёна стрела, во бел шатёр, пади, стрела, на белу грудь моему крёстному, проскользни да сделай малую царапину. Он поймёт: одному мне в бою худо можется». Угодила стрела в Самсонов шатёр. Самсон-богатырь пробудился, вскочил на резвы ноги и крикнул громким голо-сом:

– Вставайте, богатыри могучие русские! Прилетела от крестника калёна стрела – весть нерадостная: понадобилась ему подмога в бою с сарацинами. Понапрасну он бы стрелу не послал. Вы седлайте, не мешкая, добрых коней, и поедем мы биться не ради князя Владимира, а ради народа русского, на выручку славному Илье Муромцу!

В скором времени прискакали на подмогу двенадцать богатырей, а Илья Муромец с ними во тринадцатых. Накинулись они на полчища вражеские, прибили, притоптали конями всю несметную силу, самого царя Калина во полон взяли, привезли в палаты князя Владимира. И возговорил Калин-царь:

– Не казни меня, князь Владимир стольно-киевский, я буду тебе дань платить и закажу своим детям, внукам и правнукам веки вечные на Русь с мечом не ходить, а с вами в мире жить. В том мы подпишем грамоту.

Тут старина-былина и окончилась.

МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ И СВЯТОГОР

Жил богатырь на Святых горах. На могучем коне, как великая гора, ездил меж ущельев каменных. То был Святогор-богатырь. Ему сила-могута дана непомерная. Святогора да его коня богатырского не носила мать – сыра земля – вот и ездил он на каменных горах. Как-то спросил Святогор своего коня вещего:

– Хочется мне на Руси побывать. Понесёт ли нас мать – сыра земля, коли спуститься с этих каменных гор?

И проговорил конь речью человеческой:

– Лёгкой поступью поедем – земля выдержит, а на грунь⁷ перейти либо скоком скакать – провалимся.

И спустился Святогор с каменных гор, едет лёгкой поступью да и задремал на коне. И проехал он заставу богатырскую, а на заставе стояли тогда три богатыря: Илья Муромец с Добрыней Никитичем да Алёша Попович-млад. Заметили, усмотрели они следы Святогорова коня: из каждого копыта по печи земли вывернуто, смотреть на следы – страх берёт.

Проговорил тут Илья Муромец:

– Поеду-ка я, братья крестовые, по этим следам, поразведаю, коль не с добрым умыслом кто приехал, с нахвальщиком силой померяюсь, ведь в бою мне смерть не писана.

Оседлал он своего бурушку-косматушку и поехал во чисто поле. Едет, коня понуждает⁸ и недолге настиг-застал наездника. Видит – легко богатырский конь переступывает, по печи комья земли из копыт выворачивает, а на коне великан-богатырь сидит, сидя спит, похрапывает.

Поближе подъехал Илья Муромец и зычным голосом окликнул раз, другой и третий наездника. Богатырь не

⁷ На грунь перейти – поехать рысью.

⁸ Понужать, понуждать – торопить.

оглянулся, не откликнулся, сидит на коне, сидя спит в седле да похрапывает. Илья Муромец подивился тому, подъехал к наезднику близко-наблизко да тупым концом долгомерного копыя ударил по плечам наездника. А наездник сидит, спит в седле, не оглядывается, сидя спит да похрапывает. Удивился Илья Муромец, рассердился и ударил во всю силу богатырскую наездника в третий раз.

После третьего удара оглянулся богатырь. Оглянулся, повернулся и вымолвил:

– Думал, русские комарики покусывают, а тут богатырь Илья Муромец с долгомерным копьем тешится!

Он нагнулся с седла, ухватил Илью Муромца вместе с конем одной рукой, поднял, оглядел и сунул в седельную суму. Ехал так час и другой. Святогор конь спотыкаться стал, а под конец на коленки пал. Рассердился, закричал на коня Святогор:

– Что ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься, а под конец и на коленки пал? Чуешь, видно, беду-невзгоду над моей головой!

Отвечал Святогор конь:

– Потому я спотыкаться стал, что вместо одного тебя несу на себе двух могучих богатырей да впридачу коня богатырского, а на коленки пал потому, что чую беду-невзгоду над твоей головой.

Святогор-богатырь доставал Илью Муромца из седельной сумы, становил его с конем на землю и говорил так-вы слова:

– Будь ты, Илья Муромец, моим братом названным. Тебе в бою смерть не писана, а мне такая сила-могута дана, что худо носит нас с конем мать – сыра земля, оттого я живу да разъезжаю по каменным горам.

По чистому полю, по широкому раздолью едут два богатыря: Илья Муромец, сын Иванович, да Святогор-богатырь.

Едут, слышат, как орет в поле пахарь, понукивает,

сошка у пахаря поскрипывает, омешики по камешкам прочиркивают, непомерные борозды оратай помётывает, из края уедет – другого не видать.

Тут увидали Святогор с Ильёй возле пашни на обочине малую суму перемётную. Святогор-богатырь поддел за лямки сумочку на конец копыя долгомерного, да не может сумочку с земли поднять. Он слез с коня, ухватился за сумочку одной рукой, а сумочка будто в землю вросла: не шелохнулась, с места не струнулась. Удивился богатырь да двумя руками взялся за малую суму перемётную, а сумочка лежит, не трохнется, не ворохнется.

Рассердился Святогор-богатырь и напрягся во всю силу-могугу свою непомерную, сам по колени в землю увяз, пот кровавый на лице выступил, а малая сумочка будто в землю вросла, с места не сдвинулась.

Последние силы богатырь собрал и так напрягся, натужил, что по плечи в землю ушёл, все суставы у него перервалися, все жилы распустилися – да тут богатырю и кончина пришла. На том месте и похоронил Илья Муромец Святогора-богатыря.

А в ту самую пору издали-далече пахарь обратную борозду гнал-метал. Довёл борозду до обочины, сошку в землю воткнул, с Ильёй Муромцем поздоровался:

– Здрав буди, Илья Муромец! Ты куда едешь, куда путь держишь?

– Здравствуй и ты, крёстный батюшка, славный пахарь Микула Селянинович, – отвечал Илья Муромец и поведал-рассказал о кончине Святогора-богатыря.

Подошёл Микула Селянинович к малой сумочке перемётной, взялся одной рукой, поднял сумочку от сырой земли, руки в лямки продел, закинул сумочку на плечи, подошёл к Илье Муромцу да и вымолвил:

– В этой сумочке вся тяга земная. В этой сумочке я ношу и тягость пахаря-оратая, и хоть какой богатырь ни будь – не поднять ему этой сумочки.

На том былина и кончилась. Синему морю на тишину,
а добрым людям на послушанье.





САДКО

В богатом Новгороде жил добрый молодец, по имени Садко, а по-уличному прозывался Садко-гуслияр.

Жил бобылём, с хлеба на квас перебивался – ни двора, ни кола. Только гусли, звонкие, яровчатые, да талант гуслияра-певца и достались ему в наследство от родителей. А слава о нём рекой катилась по всему Великому Новгороду. Недаром звали Садко и в боярские терема златоверхие, и в купеческие хоромы белокаменные на пирах играть, гостей потешать. Заиграет он, заведёт напев – все бояре знатные, все купцы первостатейные⁹ слушают гуслияра, не наслушаются. Тем молодец и жил, что по пирам ходил.

Но вот вышло так: день и два Садко на пир не зовут и на третий день не зовут, не кличут. Горько и обидно ему показалось.

Взял Садко свои гусельцы яровчатые, пошёл к Ильмень-озеру. Сел на берегу на синь-горюч камень и ударил в струны звонкие, завёл напев переливчатый. Играл на берегу с утра до вечера.

А на закате красного солнышка взволновалось Ильмень-озеро. Поднялась волна, как высокая гора, вода с

⁹ Первостатейный – здесь: самый богатый.

песком смешалася, и вышел на берег сам Водяной – хозяин Ильмень-озера. Оторопь гусяря взяла. А Водяной сказал таковы слова:

– Спасибо тебе, Садко, гусяря новгородский! Было у меня столованье-гулянье, почестей пир. Веселил ты, потешал гостей моих. И хочу я тебя за то пожаловать! Позовут тебя завтра к первостатейному купцу на гусярях играть, именитых новгородских купцов потешать. Попьют, поедят купцы, похваляться станут, порасхвастаются. Один похвалится несчётной золотой казной, другой – дорогими товарами заморскими, третий станет хвастать добрым конём да шелковым портом¹⁰. Умный похвалится отцом с матерью, а неумный – молодой женой. Потом спросят тебя купцы именитые, чем бы ты, Садко, похвалиться мог, похвастаться. А я тебя научу, как ответ держать да богатым стать.

И поведал Водяной – хозяин Ильмень-озера гусярю-сироте тайну дивную.

На другой день позвали Садко в белокаменные палаты именитого купца на гусярях играть, гостей потешать.

Столы от напитков да от кушаний ломаются. Пир-столованье вполпира, а гости, купцы новгородские, сидят вполпьяна. Стали друг перед другом хвастать: кто золотой казной-богачеством, кто дорогими товарами, кто добрым конём да шелковым портом. Умный хвалится отцом, матушкой, а неумный хвастает молодой женой.

Принялись потом Садко спрашивать, у доброго молодца выпытывать:

– А ты, молодой гусяря, чем похвалишься?

На те слова-речи Садко ответ держит:

– Ах, купцы вы богатые новгородские! Ну чем мне перед вами хвастать-похваляться? Сами знаете: нет у меня ни злата, ни серебра, нет в гостинном ряду лавок с дороги-

¹⁰ Портом – полотном, холстом.

ми товарами. Одним только я и похвалиться могу. Один только я знаю-ведаю чудо-чудное да диво-дивное. Есть в нашем славном Ильмень-озере рыба – золотое перо. И никто той рыбы не вылавливал. Не видывал, не вылавливал. А кто ту рыбу – золотое перо выловит да ухи похлебает, тот из старого молодым станет. Только тем и могу похвалиться я, похвастаться!

Зашумели купцы именитые, заспорили:

– Пустым ты, Садко, похваляешься. Из веки-веков никто не слыхивал, что есть такая рыба – золотое перо и что, похлебавши ухи из той рыбы, стар человек молодым, могучим станет!

Шестеро самых богатых новгородских купцов пуще всех спорили:

– Нету рыбы такой, о коей ты, Садко, сказываешь. Мы станем биться о велик заклад. Все наши лавки в гостином ряду, всё наше именье-богачество прозакладываем! Только тебе против нашего заклада великого выставить нечего!

– Рыбу – золотое перо я берусь выловить! А против вашего заклада великого ставлю свою буйную голову, – отвечал Садко-гусяр.

На том дело поладили и рукобитьем об заклад спор покончили.

В скором времени связали невод шелковый. Забросили тот невод в Ильмень-озеро первый раз – и вытащили рыбу – золотое перо. Выметали невод другой раз – и выловили ещё одну рыбу – золотое перо. Закинули невод третий раз – поймали третью рыбу – золотое перо. Сдержал своё слово Водяной – хозяин Ильмень-озера: наградил Садко, пожаловал. Выиграл сирота-гусяр велик заклад, получил богатство несметное и стал именитым новгородским купцом. Повёл торговлю большую в Новгороде, а приказчики его торгуют по иным городам, по ближним и дальним местам. Множится богатство Садко не по дням, а по часам. И стал он вскорости самым богатым купцом в славном Ве-

ликом Новгороде. Выстроил палаты белокаменные. Горницы в тех палатах чудо-дивные: дорогим заморским деревом, златом-серебром да хрусталём изукрашены. Эдаких горниц отродясь никто не видывал, и на слыху таких покоев не было.

А после того женился Садко, привёл молодую хозяйку в дом и завёл в новых палатах почестей пир-столованье. Собирал на пир бояр родовитых, всех купцов новгородских именитых; позвал и мужиков новгородских. Всем нашлось место в хоробах хлебосольного хозяина. Напивались гости, наедались, захмелели, заспорили. Кто о чём беседы громко ведут да похваляются. А Садко по палатам похаживает и говорит таковы слова:

– Гости мои любезные: вы, бояре родовитые, вы, купцы богатые, именитые, и вы, мужики новгородские! Все вы у меня, у Садко, на пиру напились, наелись, а теперь шумно спорите, похваляетесь. Иной правду говорит, а иной и пустым похваляется. Видно, надо мне и о себе сказать. Да и чем мне стать похваляться? Богатству моему и сметы нет. Золотой казны столько у меня, что могу все товары новгородские скупить, все товары – худые и хорошие. И не станет товаров никаких в Великом славном Новгороде.

Та заносчивая речь, хвастливая, обидной показалась застолице – и боярам, и купцам, и мужикам новгородским. Зашумели гости, заспорили:

– Век того не бывало и не будет, чтоб один человек мог скупить все товары новгородские, купить и продать наш Великий славный Новгород. И мы бьёмся с тобой о велик заклад в сорок тысячей: не осилить тебе, Садко, Господина Великого Новгорода. Сколь бы ни был богат-могуч один человек, а против города, против народа он – пересохшая соломинка!

А Садко на своём стоит, не унимается и бьётся о велик заклад, выставляет сорок тысячей...

И на том пирувань-столовань окончилось. Разошлись гости, разъехались.

А Садко на другой день вставал раным-ранёшенько, умывался белёшенько, будил свою дружину, верных помощников, насыпал им золотой казны полным-полно и отправлял по улицам торговым, а сам Садко шёл в гостиный ряд, где торгуют лавки дорогими товарами. Так целый день с утра до вечера Садко, богатый купец, со своими верными помощниками скупали все товары во всех лавках Великого славного

Новгорода и к закату солнышка скупили всё, как метлой замели. Не осталось товаров в Новгороде ни на медный грош.

А на другой день – глядь-поглядь – от товаров новгородские лавки ломаются, навезли за ночь товаров больше прежнего.

Со своей дружиной, с помощниками принялся Садко товары скупать по всем улицам торговым и в гостином ряду. И к вечеру, к закату солнышка, не осталось в Новгороде товаров ни на единый грош. Всё скупили и свезли в амбары Садко-богача.

На третий день послал с золотой казной Садко помощников, а сам пошёл в гостиный ряд и видит: товаров во всех лавках больше прежнего. Ночью подвезли товары московские. Слышит Садко молву, что обозы с товарами из Москвы идут, и из Твери идут, и из многих других городов, а по морю корабли бегут с товарами заморскими.

Тут призадумался Садко, пригорюнился:

– Не осилить мне Господина Великого Новгорода, не скупить мне товаров всех русских городов и со всего свету белого. Видно, сколь я ни богат, а богаче меня Великий славный Новгород. Лучше мне мой заклад потерять – сорок тысячей. Всё равно не осилить мне города да народа новгородского. Вижу теперь, что нет такой силы-могущества, чтоб один человек мог народу су противиться.

Отдал Садко свой великий заклад – сорок тысячей. И построил сорок кораблей. Погрузил на корабли все товары скупленные и поплыл на кораблях торговать в страны заморские.

В заморских землях продал товары новгородские с большим барышом¹¹.

А на обратном пути на синем море приключилась невзгода великая. Все сорок кораблей будто к месту приросли, остоялися. Ветер мачты гнёт и снасти рвёт, бьёт морская волна, а все сорок кораблей будто на якорях стоят, с места тронуться не могут.

И сказал Садко кормчим да команде судовой:

– Видно, требует царь Морской с нас дань-выкуп. Берите, ребятушки, бочку золота да мечите деньги во синё море.

Выметали в море бочку золота, а корабли по-прежнему с места не тронулись. Их волною бьёт, ветер снасти рвёт.

– Не принимает царь Морской нашего золота, – проговорил Садко. – Не иначе, как требует с нас живую душу себе.

И приказал жребий метать. Каждому достался жребий липовый, а Садко себе жребий взял дубовый. И на каждом жребии именная помета. Метнули жребий во синё море. Чей жребий утонет, тому и к Морскому царю идти.

Липовые – будто утки поплыли. На волне качаются. А дубовый жребий самого Садко ключом на дно пошёл.

Проговорил тогда Садко:

– Тут промашка вышла: дубовый жребий тяжелей липовых, потому он и на дно пошёл. Кинем-ко ещё разок.

Сделал Садко себе жребий липовый, и ещё метнули жребий во синё море. Все жеребья утицей-гоголем поплыли, а Садков жребий, как ключ, на дно нырнул. Сказал тогда Садко, купец богатый, новгородский:

¹¹ Барыш – прибыль.

– Делать нечего, ребяташки, видно, царь Морской ничьей иной головы не хочет принять, а требует он мою буйную голову.

Взял он бумагу да перо гусиное и принялся роспись писать: как и кому его именье-богачество оставить. Отписал, отказал деньги монастырям на помин души. Наградил свою дружину, всех помощников и приказчиков. Много казны отписал на нищую братию, на вдов, на сирот, много богатства отписал-отказал своей молодой жене. После того проговорил:

– Спускайте-ко, любезные дружинники мои, за борт доску дубовую. Страшно мне сразу вдруг спускаться во синё море.

Спустили широкую надёжную доску на море. С верными дружинниками Садко простился, прихватил свои гусли, звонкие, яровчатые.

– Сыграю на доске последний разок перед тем, как смерть принять!

И с теми словами спустился Садко на дубовый плот, а все корабли тотчас с места тронулись, паруса шелковые ветром наполнились, и поплыли они своим путём-дорогою, будто остановки никакой и не было. Понесло Садко на дубовой доске по морю-океану, а он лежит, на гусельцах тренькает, тужит о своей судьбе-доле, свою жизнь прежнюю вспоминает. А доску-плот морская волна покачивает, Садко на доске убаюкивает, и не заметил он, как впал в дрёму и уснул глубоким сном.

Долго ли, коротко ли тот сон длился – неведомо. Проснулся-пробудился Садко на дне моря-океана, возле палат белокаменных. Из палат слуга выбежал и повёл Садко в хоромы. Завёл в большую горницу, а там сам царь Морской сидит. На голове у царя золотая корона. Заговорил Морской царь:

– Здравствуй, гость дорогой, долгожданный! Много я о тебе слышал от моего племянника Водяного – хозяина



Былина
«Садко»

славного Ильмень-озера – про твою игру на гусях яровчатых. И захотелось мне самому тебя послушать. Для того и корабли твои остановил, и твой жребий именно два раза утопил.

После того позвал челядинца¹²:

– Топи жарко баню! Пусть наш гость с дороги попарится, помоеся, а после того отдохнёт. Потом пир заведём. Скоро званые гости съезжаться станут.

Вечером завёл Морской царь пир на весь мир. Съехались цари да царевичи из разных морей. Водяные из разных озёр да рек. Приплыл и Водяной – хозяин Ильмень-озера. Напитков да кушаний у царя Морского вдоволь: пей, ешь, душа-мера!

Наугощались гости, захмелели. Говорит хозяин, царь Морской:

– Ну, Садко, потешь, позабавь нас! Да играй веселей, чтобы ноги ходуном ходили.

Заиграл Садко задорно, весело. Гости за столом усидеть не могли, выскочили из-за столов да в пляс пустились и так расплясались, что на море-океане великая буря началась. И много в ту ночь кораблей сгнуло. Страсть сколько людей потонуло!

Играет гусяр, а Морские цари с царевичами да Водяные пляшут, покрикивают:

– Ой, жги, говори!

Тут возле Садко оказался Водяной – хозяин Ильмень-озера и зашептал гусяру на ухо:

– Нехорошее дело тут творится у моего дядюшки. На море-океане от этой пляски такая непогода разыгралась. Кораблей, людей и товаров погибло – тьма-тьмущая. Перестань играть, и пляска кончится.

– Как же я перестану играть? На дне моря-океана у меня не своя воля. Покуда дядя твой, сам царь Морской, не прикажет, я остановиться не могу.

¹² Челядинец – дворовый слуга.

– А ты струны оборви да шпенёчки повыломай и скажи царю Морскому, запасных-де нет у тебя, а здесь запасных струн да шпенёчков негде взять. А как перестанешь играть да окончится пир-столованье, разъедутся гости по домам, царь Морской, чтоб удержать тебя в подводном царстве, станет понуждать тебя выбрать невесту и жениться. А ты на то соглашайся. Проведут перед тобой сперва триста девиц-красавиц, потом ещё триста девиц – что ни вздумать, ни сказать, ни пером описать, а только в сказке рассказать – пройдут перед тобой, а ты стой да молчи. Поведут перед тобой ещё триста девиц краше прежнего. Ты всех пропусти, укажи на последнюю и скажи: «Вот на этой девушке, на Черनावушке, я жениться хочу». То – моя родная сестра, она тебя из неволи, из плена выручит.

Проговорил эти слова Водяной – хозяин Ильмень-озера и смешался с гостями.

А Садко струны оборвал, шпенёчки повыломал и говорит Морскому царю:

– Надо струны заменить да шпенёчки новые приладить, а запасных у меня нету.

– Ну где я тебе теперь струны найду да шпенёчки. Завтра гонцов пошлю, а сегодня пир-столованье уж кончается.

На другой день говорит Морской царь:

– Быть тебе, Садко, моим верным гусяром. Всем твоя игра по душе пришлась. Женись на любой морской девице-красавице, и тебе в моём морском царстве-государстве жить будет лучше, чем в Новгороде. Выбирай себе невесту!

Хлопнул царь Морской в ладони – и откуда ни возьмишь пошли мимо Садко девицы-красавицы, одна другой краше. Так прошло триста девиц. За теми ещё идут триста девиц, таких пригожих, что пером не описать, только в сказке рассказать, а Садко стоит, молчит. За теми красавицами ещё идут триста девиц, много краше прежних.

Глядит Садко, не налюбуется, а как последняя в ряду

девица-красавица показалася, сказал гусляр Морскому царю:

– Выбрал я себе невесту. Вот на этой девице-красавице и жениться хочу, – показал он на Черनावушку.

– Ай да молодец ты, Садко-гусляр! Выбрал ты невесту хорошую: ведь она моя племянница, Чернава-река. Будем мы теперь с тобой в родстве.

Принялись весёлым пирком да за свадебку. Пир-столованье окончилось. Отвели молодых в особый покой. И лишь только двери затворилися, сказала Чернава Садко:

– Ложись, спи-почивай, ни о чём не думай. Как мне брат, Водяной, хозяин Ильмень-озера, приказал, так всё и сбудется.

Накатился, навалился на Садко сон глубокий. А как пробудился поутру – и глазам своим не верит: сидит он на крутом берегу реки Чернявы, там, где в Волхов-реку Чернава впадает. А по Волхову бегут-поспешают его сорок кораблей с верной дружиною.

И дружина с кораблей Садко увидела, сдивовалася:

– Оставили мы Садко во синем море-океане, а Садко нас встречает близ Новгорода. То ли, братцы, не чудо, то ли не диво!

Спустили и послали за Садко карбасок – лодку малую. Перебрался Садко на свой корабль, и в скором времени подошли корабли к новгородской пристани. Выгрузили товары заморские да бочки с золотом в амбары Садко-купца.

Позвал Садко своих верных помощников, дружину в палаты белокаменные. А на крыльцо выбегала молодая жена-красавица. Кидалась она на грудь Садко, обнимала его, целовала:

– А ведь было мне видение, мой муж дорогой, что прибудешь ты сегодня из заморских стран!

Попили они, поели, и стал Садко жить-поживать в Новгороде со своей молодой женой. А на том мой сказ о Садко и кончается.

**РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
XIX века**



ЖУКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1783-1852)

**СКАЗКА О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ, О СЫНЕ ЕГО
ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, О ХИТРОСТЯХ КОЩЕЯ
БЕССМЕРТНОГО И О ПРЕМУДРОСТИ МАРЬИ-
ЦАРЕВНЫ, КОЩЕЕВОЙ ДОЧЕРИ**

Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года
Был он женат и жил в согласие с женою; но всё им
Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Нужда случилась царю осмотреть своё государство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно
Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле чистом
В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;
Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось
Выпить студёной воды. Но поле было безводно...
Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился
Сам объехать всё поле: авось, попадётся на счастье
Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь.
Поспешно спрынув с коня, заглянул он в него:

он полон водою

Вплоть до самых краёв; золотой на поверхности ковшик
Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик – не тут-то
Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку
Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает
Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо, и влево,
Только что дразнит царя и никак не даётся.
Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик
Стал на место, хватъ его разом справа и слева –
Как бы не так! Из рук ускользнувши,
как рыбка нырнул он
Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность
Выплыл, как будто ни в чём не бывал.

«Постой же! (подумал



Жуковский В.А.
«Сказка о царе Берендее»

Месяц, в пелёнках колышется. Царь догадался и ахнул.
«Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый
Демон, меня!» Так он подумал и горько,

горько заплакал;

Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца
На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,
Сам его взнёс на крыльцо, положил в колыбельку

и, горе

Скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал.

О тайне

Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко
Царь был печален – он всё дожидался; вот придут

за сыном;

Днём он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.

Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич
Рос не по дням – по часам; и сделался чудо-красавец.

Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,

Вовсе забыл... но другие не так забывчивы были.

Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую

Чашу заехал один. Он смотрит: всё дико; поляна,

Чёрные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.

Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда

Чудный какой-то старик, с бородою зелёной, с глазами

Также зелёными. «Здравствуй, Иван-царевич, –

сказал он. –

Долго тебя дожидались мы; пора бы нас вспомнить». –

«Кто ты?» – царевич спросил. «Об этом после;

теперь же

Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,

Мой поклон отнеси да скажи от меня: не пора ли,

Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно

миновалось

Время. Он сам остальное поймёт. До свиданья».

И с этим словом исчез бородатый старик.

Иван же царевич в крепкой думе поехал обратно

из тёмного леса.

Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.
«Батюшка царь-государь, – говорит он, – со
мною случилось

Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.

Царь Берендей побледнел как мертвец.

«Беда, мой сердечный Друг, Иван-царевич! –
воскликнул он, горько заплакав.
– Видно, пришло нам расстаться!..»

И страшную тайну о данной
Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися,
родитель, –

Так отвечал Иван-царевич, – беда невелика.

Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;

Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто
не проведал,

Даже сама государыня-матушка.

Если ж назад я

К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж
Знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно

В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые

Латы, меч и коня вороного; царица с мощами

Крест на шею надела ему; отпели молебен¹³;

Нежно потом обнялися, поплакали... с Богом!

Поехал в путь Иван-царевич. Что-то с ним будет?

Уж едет день он, другой и третий; в исходе

четвёртого – солнце

Только успело зайти – подъезжает он к озеру; гладко

Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;

Всё в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем

Воды покрытые гаснут, и в них отразился зелёный

Берег и частый тростник – и всё как будто бы дремлет;

Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха

в струйках

¹³ Молебен – краткая церковная служба; отпеть молебен – пропеть, отслужить.

Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же
Видит он? Тридцать хохлатых сереньких уток подле
Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек
Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль
Слез Иван-царевич с коня; высокой травую
Скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько
Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.
Уточки плавают, плещутся в струйках, играют,
ныряют...

Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись,

подплыли

К берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой
К белым сорочкам, оземь ударились, все обратились
В красных девиц, нарядились, порхнули и
разом исчезли.

Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,
Взад и вперёд одна-одинёшенька с жалобным криком
Около берега бьётся; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнёт, то снова присядет...
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит
К ней из-за кустика; глядь, а она ему человеческим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне
Платье моё, я сама тебе пригожуся». Он с нею
Спорить не стал, положил на травку сорочку
и, скромно

Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула

на травку

Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица
В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна
Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать,
и, краснея,

Руку ему подаёт и, потупив стыдливые очи,

Голосом звонким, как струны, ему говорит:

«Благодарствуй, Добрый Иван-царевич, за то,

что меня ты послушал;

Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен
Будешь: я дочь Кощея бессмертного, Марья-царевна;
Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным
Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя

поджидает

В гости и очень сердит; но ты не пекись¹⁴, не заботься,
Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:
Только завидишь Кощея-царя, упади на колена,
Прямо к нему поползи; затопают он – не пугайся;
Станет ругаться – не слушай; ползи да и только;

что после

Будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна
В землю ударила маленькой ножкой своей;

раступилась

Тотчас земля, и они вместе в подземное

царство спустились.

Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он
Весь из карбункула-камня¹⁵ и ярче небесного солнца
Всё под землей освещал. Иван-царевич отважно
Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;
Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.
Только завидел его вдалеке, тотчас на колени
Стал Иван-царевич. Кощей же затопал, сверкнуло
Страшно в зелёных глазах, и так закричал он,

что своды

Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны
Вспомня, пополз на карачках Иван-царевич к престолу;
Царь шумит, а царевич ползёт да ползёт. Напоследок
Стало царю и смешно. «Добро ты, проказник, –

сказал он, –

Если тебе удалось меня рассмешить, то с тобою
Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим

¹⁴ Не пекись – не имей попечения о чём-либо.

¹⁵ Карбункул – драгоценный камень.

К нам в подземельное царство; но знай,
за твоё послушанье
Должен ты нам отслужить три службы;
сочтёмся мы завтра;
Ныне уж поздно; поди». Тут два придворных проворно
Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,
С ним пошли в покой, отведённый ему, отворили
Дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался
Там он один. Беззаботно он лёг на постелю и скоро
Сном глубоким заснул. На другой день рано поутру
Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул:
«Ну, Иван-царевич, – сказал он, – теперь
мы посмотрим,
Что-то искусен ты делать? Изволь, например,
нам построить
Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,
Стены из мрамора, окна хрустальные, вокруг
регулярный
Сад¹⁶, и в саду пруды с карасями; если построишь
Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;
Если же нет, то прошу не пенять... головы
не удержишь!» –
«Ах ты, Кощей окаянный, – Иван-царевич подумал, –
Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжёлой кручиной
Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь; уж вечер;
Вот блестящая пчёлка к его подлетела окошку,
Бьётся об стёкла – и слышит он голос: «Впусти!»
Отворил он дверку окошка, пчёлка влетела и вдруг
обернулась
Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич; о чём ты
Так призадумался?» – «Нехотя будешь задумчив, –
сказал он. – Батюшка твой до моей головы
добирается». –

¹⁶ Регулярный сад – имеющий правильную форму, хорошо организованный.

«Что же Сделать решился ты?» – «Что? Ничего.

Пускай его снимет

Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь». –

«Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам

Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;

Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися

Спать; а завтра поране встань; уж дворец твой

построен

Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай

в стену».

Так всё и сделалось. Утром, ни свет ни заря, из каморки

Вышел Иван-царевич... глядит, а дворец уж построен.

Чудный такой, что сказать невозможно.

Кощей изумился;

Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку, –

Так он сказал Ивану-царевичу, – вижу, ты ловок

На руку; вот мы посмотрим, так же ли

будешь догадлив.

Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.

Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь

Три раза мимо пройти и в третий мне раз без ошибки

Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать;

не узнаешь –

С плеч голова. Поди». – «Уж выдумал, чучела,

мудрость, –

Думал Иван-царевич, сидя под окном. – Не узнать мне

Марью-царевну... какая ж тут трудность?» –

«А трудность такая, –

Молвила Марья-царевна, пчёлкой влетевши, – что если

Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас

Тридцать сестёр, и все на одно мы лицо; и такое

Сходство меж нами, что сам отец наш только по платью

Может нас различать». – «Ну что же мне делать?» –

«А вот что: буду я та, у которой на правой щеке ты

заметишь

Мошку. Смотри же, будь осторожен, взглядишь
хорошенько,
Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчёлка исчезла.
Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет
Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаком
Платье рядом стоят, потупив глаза.

«Ну, искусник, –
Молвил Кощей, – изволь-ка пройтись три раза мимо
Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам
Марью-царевну». Пошёл Иван-царевич; глядит он
В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит
В первый раз – мошки нет; проходит в другой раз –
всё мошки
Нет; проходит в третий и видит – крадётся мошка,
Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-то под нею
Так и горит; загорелось и в нём,

и с трепещущим сердцем:
«Вот она, Марья-царевна!» – сказал он Кощею,
подавши
Руку красавице с мошкой. «Э! э! да тут, примечаю,
Что-то нечисто, – Кощей проворчал, на царевича
с сердцем
Выпучив оба зелёные глаза. – Правда, узнал ты
Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и хитрость;
Верно, с грехом пополам. погоди же, теперь доберуся
Я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй;
Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле
Здесь покажи; зажгу я соломинку; ты же, покуда
Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места,
Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только
Знай наперёд: не сошьёшь – долой голова;

до свиданья».

Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчёлка
Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,
Милый Иван-царевич?» – спросила она. «Поневоле

Будешь задумчив, – он ей отвечал. – Отец твой затеял Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой; Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много Этих бессмертных». – «Иван-царевич, да что же

ты будешь

Делать?» – «Что мне тут делать? Шить сапогов

я не стану.

Снимет он голову – чёрт с ним, с собакой! какая

мне нужда!»

– «Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;

Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасёмся

Или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж другого

Способа нет». Так сказав, на окошко Марья-царевна

Плюнула; слюнки в минуту примёрзли к стеклу;

из каморки

Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,

Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула,

За руки взявшись потом, они поднялись и мигом

Там очутились, откуда сошли в подземельное царство:

То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий

Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет

Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий

Конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался

Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю

Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,

Сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою.

Царь Кощей в назначенный час посылает придворных

Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго

Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят;

Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за двери им

слюнки,

Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: буду.

Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;

Ждать-подождать – царевич нейдёт; посылает

в другой раз

Тех же послов рассерженный Кощей, и та же всё песня:
Буду; а нет никого. Взбесился Кощей. «Насмехаться,
Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать
и в минуту

За ворот к нам притащить неучтивца!»

Бросились слуги...

Двери разломаны... вот тебе раз; никого там, а слюнки
Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.

Ах! он вор окаянный! люди! люди! скорее
Все в погоню за ним!., я всех перевешаю, если
Он убежит!..» Помчалась погоня... «Мне слышится
топот», –

Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись
Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и, припавши
Ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко».

– «Так медлить

Нечего», – Марья-царевна сказала и в ту же минуту
Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным
Мостиком, чёрным вороном конь, а большая дорога
На три дороги разбилась за мостиком.

Быстро погоня

Скачет по свежему следу; но, к речке примчавшись,
стали

В пень Кошеевы слуги: след до мостика виден;
Дале ж и след пропадает и делится на три дорога.
Нечего делать – назад! Воротились разумники.

Страшно

Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.
«Черти! ведь мостик и речка были они! догадаться
Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно
Здесь он!..» Опять помчалась погоня...

«Мне слышится топот», –

Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.
Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей:
«Скачут, и близко». И в ту же минуту Марья-царевна

Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их,
дремучим
Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок
числа нет;
По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несётся.
Вот по свежему следу гонцы примчались к лесу;
Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними.
Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево царство.
Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;
Кажется, близко? ну только б схватить; ан нет,
не даётся.
Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство,
В самом том месте, откуда пустились в погоню;
и скрылось
Всё: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками
Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,
Начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута! Коня мне!
Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»
Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько
Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей
отвечает:
«Скачут, и близко». – «Беда нам! Ведь это Кощей,
мой родитель
Сам; но у первой церкви граница его государства;
Далее ж церкви скакать он никак не посмеет.
Подай мне
Крест твой с мощами». Послушавшись
Марьи-царевны, снимает
С шеи свой крест золотой Иван-царевич и в руки
Ей подаёт, и в минуту она обратилась в церковь,
Он в монаха, а конь в колокольню – и в ту же минуту
С свитою к церкви Кощей прискакал.
«Не видал ли проезжих,
Старец честной?» – он спросил у монаха.
«Сейчас проезжали

Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили
В церковь они – святым помолились да мне приказали
Свечку поставить за здравье твоё и тебе поклониться,
Если ко мне ты заедешь». – «Чтоб шею сломить им,
проклятым!» –

Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный
помчался

С свитой назад, а примчавшись домой, пересёк
беспощадно

Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею
Марьей-царевной поехали дале, уже не бояся
Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось
Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними
Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось
В этот город заехать. «Иван-царевич, – сказала
Марья-царевна, – не езд; недаром вешее сердце
Ноет во мне: беда приключится». – «Чего ты боишься,
Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим
Город, потом и назад». – «Заехать нетрудно, да трудно
Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь останусь
Белым камнем лежать у дороги; смотри же,

мой милый,

Будь осторожен: царь, и царица, и дочь их царевна
Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец
Будет; младенца того не целуй; поцелуешь –

забудешь

Тотчас меня; тогда и я не останусь на свете,
С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь, у дороги,
Буду тебя дожидаться я три дни; когда же на третий
День не придёшь... но прости, поезжай».

И в город поехал,

С нею простясь, Иван-царевич один. У дороги
Белым камнем осталась Марья-царевна. Проходит
День, проходит другой, напоследок проходит

и третий –

Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!
Он не исполнил её наставленья: в городе вышли
Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;
Выбежал с ними прекрасный младенец,
мальчик-кудряшка,
Живчик, глазёнки как ясные звёзды; и бросился прямо
В руки Ивану-царевичу; он же его красотою
Так был пленён, что, ум потерявши, в горячие щёки
Начал его целовать; и в эту минуту затмилась
Память его, и он позабыл о Марье-царевне.
Горе взяло её. «Ты покинул меня, так и жить мне
Незачем боле». И в то же мгновенье из белого камня
Марья-царевна в лазоревый цвет полевой
превратилась.

«Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом затопчет
Кто-нибудь в землю меня», – сказала она, и росинки
Слёз на листках голубых заблестали.

Дорогой в то время
Шёл старик; он цветок голубой у дороги увидел;
Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл
С корнем его, и в избушку свою перенёс, и в корытце
Там посадил, и полил водой, и за милым цветочком
Начал ухаживать. Что же случилось?

С той самой минуты
Всё не по-старому стало в избушке; чудесное что-то
Начало деяться в ней: проснётся старик – а в избушке
Всё уж как надобно прибрано; нет нигде ни пылинки.
В полдень придёт он домой – а обед уж состряпан,
и чистой
Скатертью стол уж накрыт: садися и ешь на здоровье.
Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок
Стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки
Начал совета просить, что делать. «А вот что
ты сделай, –
Так отвечала ему ворожейка, – встань ты до первой

Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба
Глаза гляди: что начнёт в избушке твоей шевелиться,
То ты вот этим платком и накрой. Что будет,
увидишь».

Целую ночь напролёт старик пролежал на постеле,
Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке
Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой
встрепенулся,
С тонкого стебля спорхнул и начал летать по избушке;
Всё между тем по местам становилось,
повсюду сметалась
Пыль, и огонь разгорался в печурке.

Проворно с постели
Прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась
Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.
«Что ты сделал? – сказала она. – Зачем возвратил ты
Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич
прекрасный,
Бросил меня, и я им забыта». – «Иван твой царевич
Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен,
и гости
Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;
Слезы потом отёрла; потом, в сарафан нарядившись,
В город крестьянкой пошла. Приходит
на царскую кухню;
Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;
Шум, возня, стукотня. Вот Марья-царевна, приближась
К старшему повару, с видом умильным
и сладким, как флейта,
Голосом молвила: «Повар, голубчик,
послушай, позволь мне
Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича». Повар,
Занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но слово
Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел
Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым
взглядом:

«В добрый час, девица-красавица; всё что угодно
Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».
Вот пирог испечён; а званые гости, как должно,
Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар
Важно огромный пирог на узорном серебряном блюде
Ставит на стол перед самым Иваном-царевичем; гости
Все удивились, увидя пирог. Но лишь только верхушку
Срезал с него Иван-царевич – новое чудо!

Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.
Голубь по столу ходит; голубка за ним и воркует:
«Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне

ты забудешь

Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»
Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;
Он вскочил как безумный и кинулся в дверь, а за дверью
Марья-царевна стоит уж и ждёт. У крыльца же
Конь вороной с нетерпенья, осёдланный,

взнузданный, пляшет.

Нечего медлить; поехал Иван-царевич с своею
Марьей-царевной; едут да едут, и вот приезжают
В царство царя Берендея они. И царь и царица
Приняли их с весельем таким, что такого веселья
Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали
Думать, честным пирком да за свадебку; съехались гости,
Свадьбу сыграли; я там был, там мёд я и пиво
Пил; по усам текло, да в рот не попало.
И всё тут.



РЫЛЕЕВ КОНДРАТИЙ ФЁДОРОВИЧ (1795-1826)



В исходе 1612 года юный Михаил Феодорович Романов скрывался в Костромской области. В то время Москву занимали поляки: сии пришельцы хотели утвердить на российском престоле царевича Владислава, сына короля их Сигизмунда III. Один отряд проникнул в костромские пределы и искал захватить Михаила. Вблизи от его убежища враги схватили Ивана Сусанина, жителя села Домнина, и требовали, чтобы он тайно провёл их к жилищу будущего венценосца России. Как верный сын отечества, Сусанин захотел лучше погибнуть, нежели предательством спасти жизнь. Он повёл поляков в противную сторону и известил Михаила об опасности; бывшие с ним успели увести его. Раздражённые поляки убили Сусанина. По восшествии на престол Михаила Феодоровича (в 1613 году) потомству Сусанина дана была жалованная грамота на участок земли при селе Домнине; её подтверждали и последующие государи.

ИВАН СУСАНИН

«Куда ты ведёшь нас?.. не видно ни зги! –
Сусанину с сердцем вскричали враги: –
Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;
Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега.
Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути;
Но тем Михаила тебе не спасти!

Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует,
Но смерти от ляхов ваш царь не минует!..
Веди ж нас, – так будет тебе за труды;
Иль бойся: не долго у нас до беды!
Заставил всю ночь нас пробиться с метелью...
Но что там чернеет в долине за елью?»

«Деревня! – сарматам в ответ мужичок: –
Вот гумна, заборы, а вот и мосток.
За мною! в ворота! – избушечка эта
Во всякое время для гостя нагрета.
Войдите – не бойтесь!» – «Ну, то-то, москаль!..
Какая же, братцы, чертовская даль!

Такой я проклятой не видывал ночи,
Слепились от снега соколии очи...
Жупан мой – хоть выжми, нет нитки сухой! –
Вошел, проворчал так сармат молодой. –
Вина нам, хозяин! мы смокли, иззябли!
Скорей!.. не заставь нас приняться за сабли!»

Вот скатерть простая на стол постлана;
Поставлено пиво и кружка вина,
И русская каша и щи пред гостями,
И хлеб перед каждым большими ломтями.
В окончины ветер, бушуя, стучит;
Уныло и с треском лучина горит.

Давно уж за полночь!.. Сном крепким объята,
Лежат беззаботно по лавкам сарматы.
Все в дымной избушке вкушают покой;
Один, настороже, Сусанин седой
Вполголоса молит в углу у иконы
Царю молодому святой обороны!..

Вдруг кто-то к воротам подъехал верхом.
Сусанин поднялся и в двери тайком...
«Ты ль это, родимый? А я за тобою!
Куда ты уходишь ненастной порою?
За полночь... а ветер ещё не затих;
Наводишь тоску лишь на сердце родных!»

«Приводит сам бог тебя к этому дому,
Мой сын, поспешай же к царю молодому,
Скажи Михаилу, чтоб скрылся скорей,
Что гордые ляхи, по злобе своей,
Его потаённо убить замышляют
И новой бедою Москве угрожают!

Скажи, что Сусанин спасает царя,
Любовью к отчизне и вере горя.
Скажи, что спасенье в одном лишь побеге
И что уж убийцы со мной на ночлеге».
– «Ну что ты затеял? подумай, родной!
Убьют тебя ляхи... Что будет со мной?

И с юной сестрою и с матерью хилой?»
– «Творец защитит вас святой Своей силой.
Не даст он погибнуть, родимые, вам:
Покров и помощник Он всем сиротам.
Прощай же, о сын мой, нам дорого время;
И помни: я гибну за русское племя!»

Рыдая, на лошадь Сусанин молодой
Вскочил и помчался свистящей стрелой.
Луна между тем совершила полкруга;
Свист ветра умолкнул, утихнула выюга.
На небе восточном зарделась заря,
Проснулись сарматы – злодеи царя.

«Сусанин! – вскричали, – что молишься Богу?
Теперь уж не время – пора нам в дорогу!»
Оставив деревню шумящей толпой,
В лес тёмный вступают окольной тропой.
Сусанин ведёт их... Вот утро настало,
И солнце сквозь ветви в лесу засияло:

То скроется быстро, то ярко блеснёт,
То тускло засветит, то вновь пропадёт.
Стоят не шелохнясь и дуб и берёза;
Лишь снег под ногами скрипит от мороза,
Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит,
И дятел дуплистую иву долбит.

Друг за другом идут в молчаньи сарматы;
Всё дале и дале седой их вожатый.
Уж солнце высоко сияет с небес –
Всё глуше и диче становится лес!
И вдруг пропадает тропинка пред ними:
И сосны и ели, ветвями густыми

Склонившись угрюмо до самой земли,
Дебристую стену из сучьев сплели.
Вотще настороже тревожное ухо:
Всё в том захолустье и мёртво и глухо...
«Куда ты завёл нас?» – лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно! – Сусанин сказал. –



Рылеев К.Ф.
«Иван Сусанин»

Убейте! замучьте! – моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит».

«Злодей! – закричали враги, закипев, –
Умрёшь под мечами!» – «Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»

«Умри же! – сарматы герою вскричали,
И сабли над старцем, свистя, засверкали! –
Погибни, предатель! Конец твой настал!»
И твёрдый Сусанин весь в язвах упал!
Снег чистый чистейшая кровь обагрила:
Она для России спасла Михаила!



ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(1799-1837)



ЗИМНЯЯ ДОРОГА
(Отрывок)

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льёт печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни чёрной хаты,
Глушь и снег... Навстречу мне
Только вёрсты полосаты
Попадаются одне.

НЯНЕ

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!¹⁷
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота¹⁸
На чёрный отдалённый путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.

* * *

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потоплённые луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.
Ещё прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

¹⁷ Голубка дряхлая моя – так ласково называет в этом стихотворении автор свою няню Арину Родионовну.

¹⁸ Ворота (старинная форма) – ворота.

* * *

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда;
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдёт,
Птичка гласу Бога внемлет,
Встрепенётся и поёт.

За весной, красой природы,
Лето знойное пройдёт –
И туман и непогоды
Осень поздняя несёт;
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальние страны,
В тёплый край, за сине море
Улетает до весны.

* * *

В чужбине свято соблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью:
За что на Бога мне роптать¹⁹,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

¹⁹ Роптать – высказывать недовольство, обиду.

* * *

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой её гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампы,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...



СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ

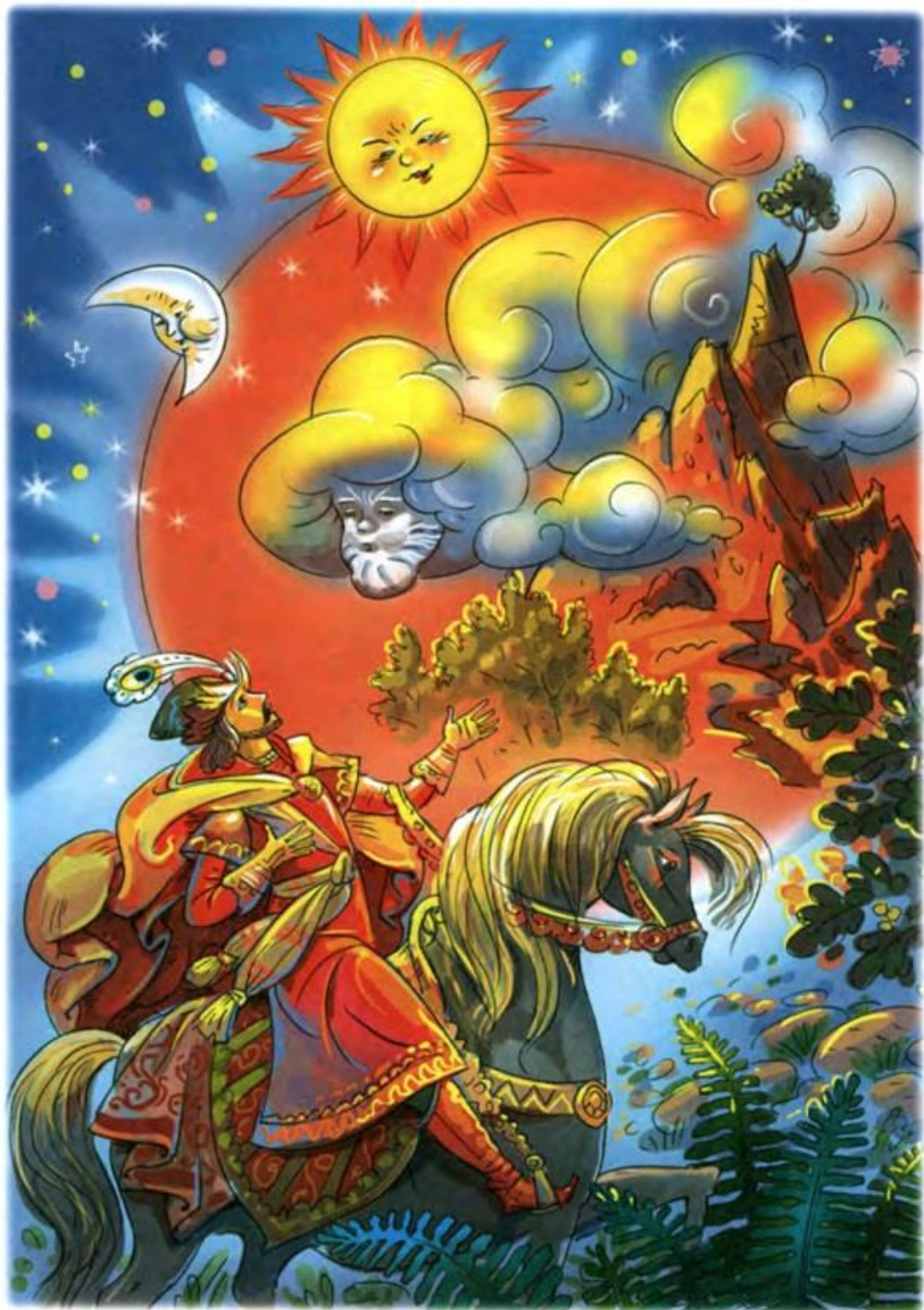
(Отрывок)

За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрён;
Кто в глаза ему смеётся,
Кто скорее отвернётся;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец:
«Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с тёплой весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». — «Свет ты мой, —
Красно солнце отвечало, —
Я царевны не видало.
Знать, её в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь её да встретил
Или след её заметил».

Тёмной ночью Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался.

«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаёшь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,
Звёзды смотрят на тебя.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». – «Братец мой, –
Отвечает месяц ясный, –
Не видал я девы красной.
На стороже я стою
Только в очередь мою.
Без меня царевна, видно,
Пробежала». – «Как обидно!»
Королевич отвечал.
Ясный месяц продолжал:
«Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.
Ты к нему теперь ступай,
Не печалься же, прощай».

Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе.
Не боишься никого,
Кроме Бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених её». – «Постой, –



Пушкин А.С.
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»

Отвечает ветер буйный, –
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места,
В том гробу твоя невеста».

Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошёл к пустому месту
На прекрасную невесту
Посмотреть ещё хоть раз.
Вот идёт; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг неё страна пустая;
Под горою тёмный вход.
Он туда скорей идёт.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумлёнными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встаёт она из гроба...
Ах!., и зарыдали оба.

В руки он её берёт
И на свет из тьмы несёт,
И, беседуя приятно,
В путь пускаются обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!



БАРАТЫНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ
(1800-1844)



* * *

Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несёт
На торжествующем хребте
Поднятый ею лёд!
Ещё древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой;
И шумен и душист.
Под солнце самое взвился.
И в яркой вышине
Незримый жавронок поёт
Заздравный гимн весне.
Что с нею, что с моей душой?
С ручьём она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит...
Летает в небе с ней!

Зачем так радует её
И солнце и весна?
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?
Что нужды! счастлив, кто на нём
Забвенье мысли пьёт,
Кого далёко от неё
Он, дивный, унесёт!

* * *

Где сладкий шёпот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы;
Ковёр зимы
Покрыл холмы,
Луга и доли.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Всё цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушуя, воеет
И небо кроет
Седую мглой...

ОДОЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ (1803/1804-1869)

ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ

Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», – сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, – и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

– Что это за городок? – спросил Миша.

– Это городок Динь-Динь, – отвечал папенька и тронул пружинку...

И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям – не из другой ли комнаты? и к часам – не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол... Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок протянулись синеватые лучи.

– Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

– Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.

– Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается...

– Право, мой друг, там и без тебя тесно.

– Да кто же там живёт?

– Кто там живёт? Там живут колокольчики.

С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колёса... Миша удивился. «Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?» – спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается».

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотой головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же, – подумал Миша, – папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».

– Извольте, с величайшею радостью!

С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

– Позвольте узнать, – сказал Миша, – с кем я имею честь говорить?

– Динь-динь-динь, – отвечал незнакомец, – я мальчик-

колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше, потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды – чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

– Я вам очень благодарен за ваше приглашение, – сказал ему Миша, – но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, – там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

– Динь-динь-динь! – отвечал мальчик. – Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.

– Отчего это? – спросил он своего проводника.

– Динь-динь-динь! – отвечал проводник, смеясь. – Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь – большое.

– Да, это правда, – отвечал Миша, – я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: треть-

его дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»

Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

– Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?

– Уж у нас поговорка такая, – отвечал мальчик-колокольчик.

– Поговорка? – заметил Миша. – А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.

Вот перед ними ещё дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вокруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждую крышкою сидит маль-

чик-колокольчик с золотой головкой, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.

– Нет, теперь уж меня не обманут, – сказал Миша. – Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

– Ан вот и неправда, – отвечал провожатый, – колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.

Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье; звенели, прыгали, бегали.

– Весело вы живёте, – сказал им Миша, – век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.

– Динь-динь-динь! – закричали колокольчики. – Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы – ни пяди²⁰, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.

²⁰ Ни пяди – здесь: ни на шаг. Пядь – старинная мера длины, расстояние между растянутыми пальцами – указательным и большим.

– Да, – отвечал Миша, – вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься – всё не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

– Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

– Какие же дядьки? – спросил Миша.

– Дядьки-молоточки, – отвечали колокольчики, – уж какие злые! то и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.

В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собой: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:

– Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

– Какой это у вас надзиратель? – спросил Миша у колокольчиков.

– А это господин Валик, – зазвенели они, – предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.

Миша – к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:

– Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры? кто прочь не идёт? кто мне спать не даёт? Шуры-муры! шуры-муры!

– Это я, – храбро отвечал Миша, – я – Миша...

– А что тебе надобно? – спросил надзиратель.

– Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают...

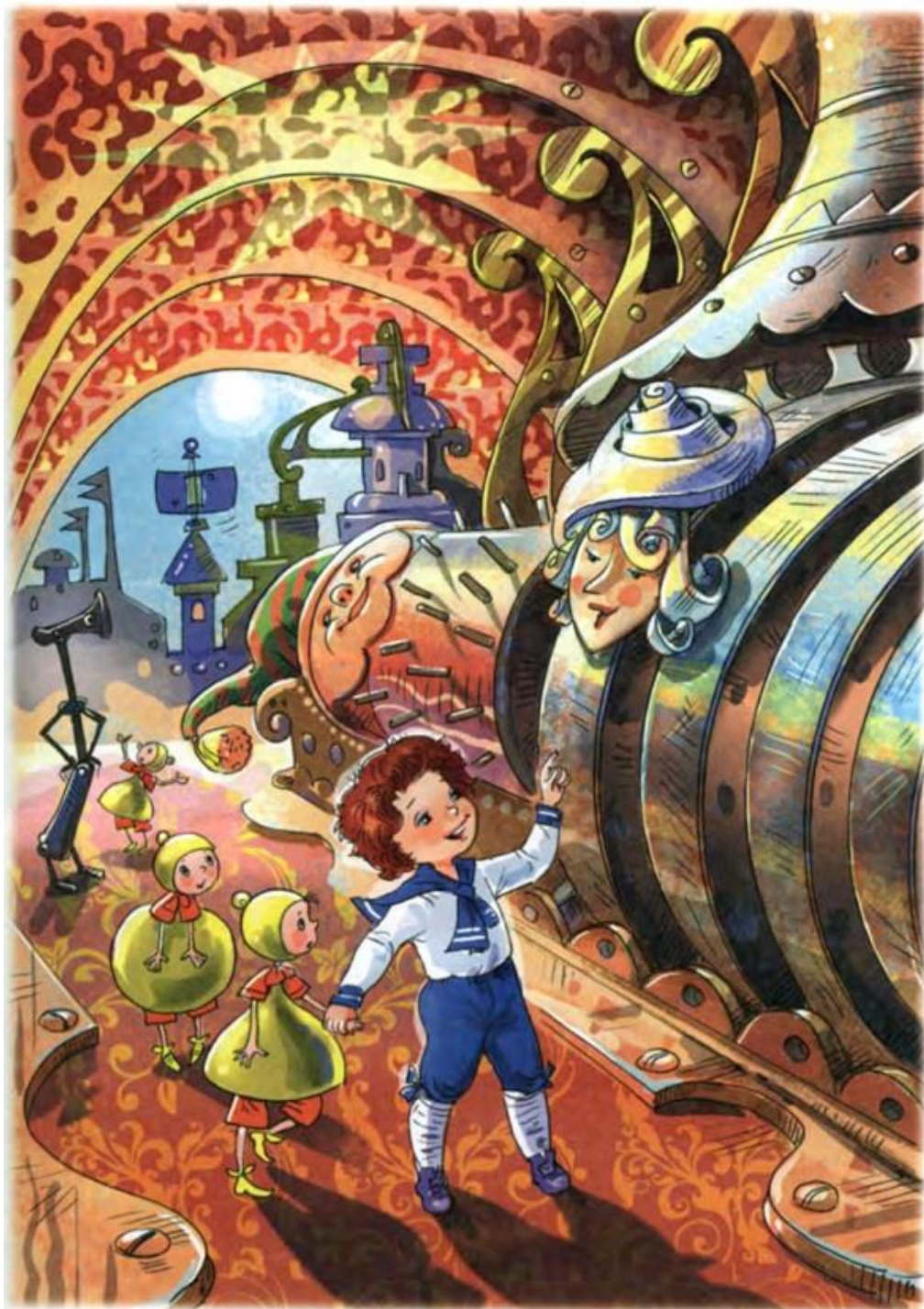
– А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь наибольший. Пусть себе дядьки стучают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры...

– Ну, многому же я научился в этом городке! – сказал про себя Миша. – Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! – думаю я. – Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.

Между тем Миша пошёл далее – и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчужного бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

– Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

– Зиц-зиц-зиц, – отвечала царевна. – Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.



Одоевский В.Ф.
«Городок в табакерке»

Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком – и что же?

В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались... Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и... проснулся.

– Что во сне видел, Миша? – спросил папенька.

Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

– Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? – спрашивал Миша. – Так это был сон?

– Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по крайней мере, что тебе приснилось!

– Да видите, папенька, – сказал Миша, протирая глазки, – мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась... – Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

– Ну, теперь вижу, – сказал папенька, – что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.

ТЮТЧЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ
(1803-1873)

* * *

Чародейкою Зимою
Околдован лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован, –
Не мертвец и не живой –
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой –
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

* * *

Ещё земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мёртвый в поле стебель колышет,
И елей ветви шевелит.
Ещё природа не проснулась,
Но сквозь редящего сна
Весну слышала она
И ей невольно улыбнулась...

* * *

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...

Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам.
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века –
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искрится река
И поля дышать на зное.

* * *

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё – простор везде, –
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь –
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле...

ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
(1814-1841)



ПАРУС

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит...
Увы! Он счастья не ищет
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в буре есть покой!

ТУЧИ

Тучи небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

МОЛИТВА

В минуту жизни трудную
Теснится в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

ДАРЫ ТЕРЕКА

(Отрывок)

Терек воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слёзы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит:

«Расступись, о старец-море,
Дай приют моей волне!
Погулял я на просторе,
Отдохнуть пора бы мне.
Я родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,
С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.
Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валунов, им на славу,
Стадо целое пригнал».

ЕРШОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ
(1815-1869)

КОНЁК-ГОРБУНОК
(Отрывок)

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле,
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына.
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счётом принимали
И с набитою сумой
Возвращались домой.

В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе:
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.
Мужички такой печали
Отродясь не видали;
Стали думать да гадать –
Как бы вора соглядать;
Наконец себе смекнули,
Чтоб стоять на карауле,
Хлеб ночами побережь,
Злого вора подстеречь.

Вот, как стало лишь смеркаться,
Начал старший брат собираться:
Вынул вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь ненастная настала,
На него боязнь напала,
И со страхов наш мужик
Закопался под сенник²¹.
Ночь проходит, день приходит;
С сенника дозорный сходит
И, облив себя водой,
Стал стучаться под избой:
«Эй вы, сонные тетери!
Отпирайте брату двери,
Под дождём я весь промок
С головы до самых ног!»
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И, прокашлявшись, сказал:
«Всю я ноченьку не спал,
На моё ж притом несчастье,
Было страшное ненастье:
Дождь вот так ливмя и лил,
Рубашонку всю смочил.
Уж куда как было скучно!..
Впрочем, всё благополучно».
Похвалил его отец:
«Ты, Данило, молодец!

²¹ Сенник – навес, под которым хранилось сено, или чердак, служивший той же цели.

Ты вот, так сказать, примерно,
Сослужил мне службу верно,
То есть, будучи при всём,
Не ударил в грязь лицом».

Стало сызнава смеркаться,
Средний брат пошёл собирать:
Взял и вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь холодная настала,
Дрожь на малого напала,
Зубы начали плясать,
Он ударился бежать –
И всю ночь ходил дозором
У соседки под забором.
Жутко было молодцу!
Но вот утро. Он к крыльцу:
«Эй вы, сони! Что вы спите!
Брату двери отоприте;
Ночью страшный был мороз –
До животиков промёрз».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И сквозь зубы отвечал:
«Всю я ноченьку не спал,
Да, к моей судьбе несчастной,
Ночью холод был ужасный,
До сердец меня пробрал;
Всю я ночку проскакал;
Слишком было несподручно...
Впрочем, всё благополучно».

И ему сказал отец:
«Ты, Гаврило, молодец!»

Стало в третий раз смеркаться,
Надо младшему собираться;
Он и усом не ведёт,
На печи в углу поёт
Изо всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы очи!»
Братья ну ему пенять,
Стали в поле погонять,
Но, сколь долго ни кричали,
Только голос потеряли:
Он ни с места. Наконец
Подошёл к нему отец,
Говорит ему: «Послушай,
Побегай в дозор, Ванюша;
Я куплю тебе лубков²²,
Дам гороху и бобов».
Тут Иван с печи слезает,
Малахай²³ свой надевает,
Хлеб за пазуху кладёт,
Караул держать идёт.
Ночь настала; месяц всходит;
Поле всё Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Звёзды на небе считает
Да краюшку уплетает.
Вдруг о полночь конь заржал...
Караульщик наш привстал,

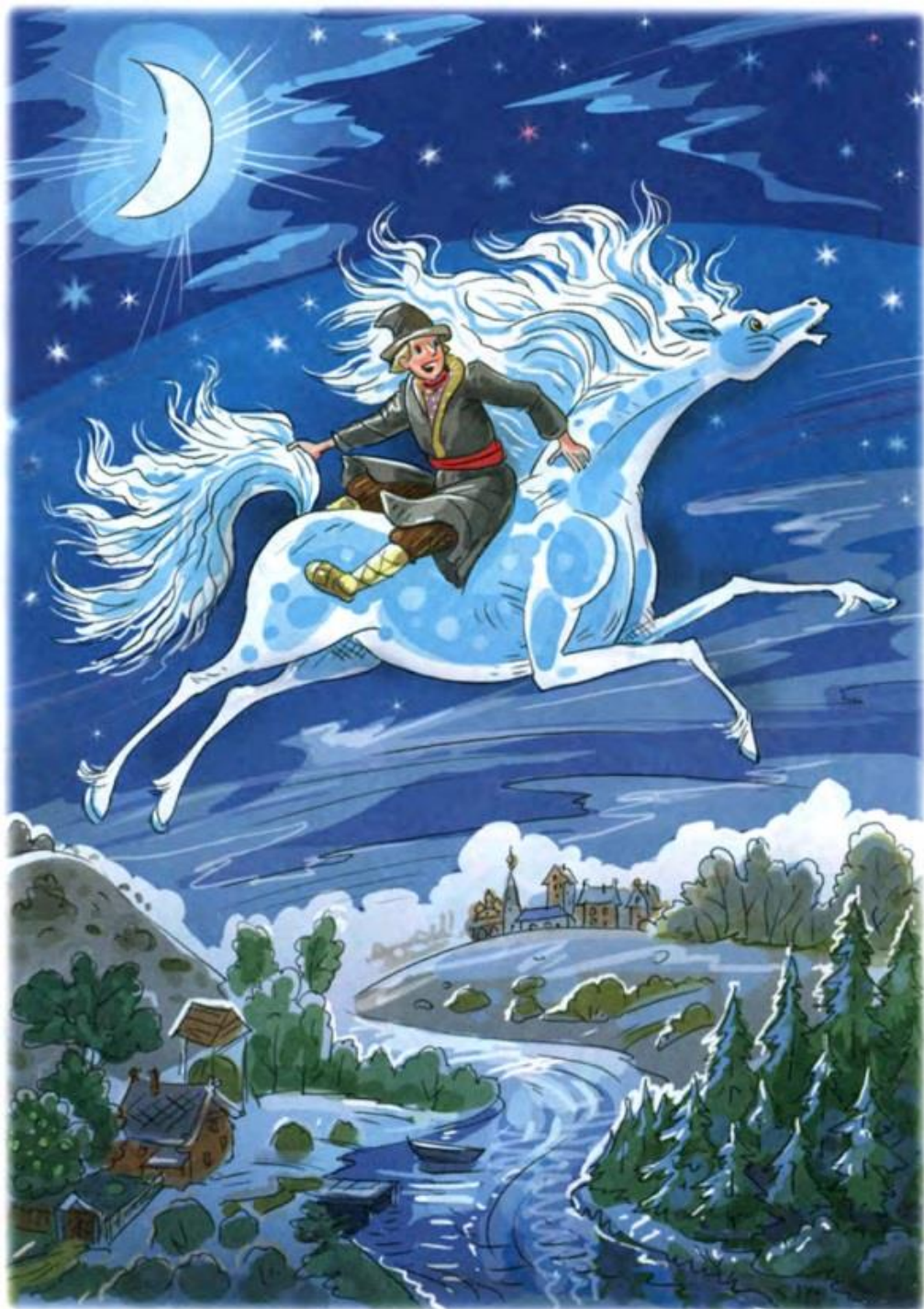
²² Лубок – картинки, большей частью раскрашенные, с изображением героев сказок, былин.

²³ Малахай – названия длиннополой широкой одежды без пояса, а также меховой шапки с ушами.

Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольца завитая.
«Эхе-хе! Так вот какой
Наш воришко!.. Но постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!»
И, минуто улуча,
К кобылице подбегает,
За волнистый хвост хватает
И прыгну́л к ней на хребёт –
Только задом наперёд.
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась как стрела.
Вьётся кругом над полями,
Виснет пластью²⁴ надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,
Хочет, силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном;
Но Иван и сам не прост –
Крепко держится за хвост.

Наконец она устала.
«Ну, Иван, – ему сказала, –
Коль умел ты усидеть,
Так тебе мной и владеть.

²⁴ Пласть – пластом, распластавшись.



Ершов П.П.
«Конёк-горбунок»

Дай мне место для покою
Да ухаживай за мною,
Сколько смыслишь. Да смотри:
По три утренни зари
Выпущай меня на волю
Погулять по чисту полю.
По исходе же трёх дней
Двух рожу тебе коней –
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да ещё рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за чёрную, слышь, бабку²⁵.
На земле и под землёй
Он товарищ будет твой:
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет,
В голод хлебом угостит,
В жажду мёдом²⁶ напоит.
Я же снова выйду в поле
Силы пробовать на воле».

«Ладно», – думает Иван
И в пастуший балаган²⁷
Кобылицу загоняет,
Дверь рогожей закрывает
И, лишь только рассвело,

²⁵ Бабка – игральная кость.

²⁶ Мёд – медовый напиток с добавлением хмеля и пряностей.

²⁷ Балаган – шалаш, загон с навесом.

Отправляется в село,
Напевая громко песню
«Ходил молодец на Пресню».
Вот он всходит на крыльцо,
Вот хватает за кольцо²⁸,
Что есть силы в дверь стучится,
Чуть что кровля не валится,
И кричит на весь базар,
Словно сделался пожар.
Братья с лавок поскакали,
Заикаясь, вскричали:
«Кто стучится сильно так?»
– «Это я, Иван-дурак!»
Братья двери отворили,
Дурака в избу впустили
И давай его ругать –
Как он смел их так пугать!
А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведёт оттуда речь
Про ночное похождение,
Всем ушам на удивленье:
«Всю я ноченьку не спал,
Звёзды на небе считал;
Месяц, ровно²⁹, тоже светил, –
Я порядком не заметил.
Вдруг приходит дьявол сам,
С бороною и с усам;
Рожа словно как у кошки,
А глаза-то – что те плошки!»³⁰

²⁸ Кольцо – железная круглая ручка у дверей, была соединена с запором.

²⁹ Ровно – как будто бы, словно, кажется.

³⁰ Плошка – большая круглая плоская посуда, в неё вливалось сало, вкладывался фитиль, который зажигали. Горящей плошкой освещали помещение. Крупные глаза сравниваются с горящей плошкой: «А глаза-то что те плошки».

Вот и стал тот чёрт скакать
И зерно хвостом сбивать.
Я шутить ведь не умею –
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал.
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его, как в жомах³¹.
Бился, бился мой хитрец
И взмолился наконец:
«Не губи меня со света!
Целый год тебе за это
Обещаюсь смирно жить,
Православных не мутить».
Я, слышь, слов-то не померил³²,
Да чертёнку и поверил».
Тут рассказчик замолчал,
Позевнул и задремал.
Братья, сколько ни серчали,
Не смогли – захохотали,
Ухватившись за бока,
Над рассказом дурака.
Сам старик не мог сдержаться,
Чтоб до слёз не посмеяться,
Хоть смеяться – так оно
Старикам уж и грешно.

Много ль времени аль мало
С этой ночи пробежало, –
Я про это ничего
Не слыхал ни от кого.
Ну, да что нам в том за дело,

³¹ Жомы – тиски.

³² Померить – здесь: обдумать, свериться с истиной

Год ли, два ли пролетело,
Ведь за ними не бежать...
Станем сказку продолжать.



ФЕТ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(1820-1892)



* * *

Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод,
Эти ивы и берёзы,
Эти капли – эти слёзы,
Этот пух – не лист,
Эти горы, эти доли,
Эти мошки, эти пчёлы,
Этот зык и свист,
Эти зори без затмения,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это всё – весна.

* * *

Учись у них – у дуба, у берёзы,
Кругом зима. Жестокая пора!

Напрасные на них застыли слёзы,
И треснула, сжимался, кора.
Всё злей метель и с каждой минутой
Сердито рвёт последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне. Её промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.

БАБОЧКА

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем –
Лишь два крыла.
Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я лёгкий опустилась
И вот – дышу.
Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И лечу.

НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1821-1877/1878)



* * *

В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки

Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.

Няня кричит: «Не убейся, родная!»
Саша, салазки свои погоняя,

Весело мчится. На полном бегу
Набок салазки – и Саша в снегу!

Выбьются косы, растреплется шубка
Снег отряхает, смеётся, голубка!

Не до ворчанья няне седой:
Любит она её смех молодой...

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,

Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зёрна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролётной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьёт...
Где же наш пахарь? чего ещё ждёт?

Или мы хуже других уродились?
Или не дружно цвели-колосились?

Нет! мы не хуже других – и давно
В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял,
Чтобы нас ветер осенний развеял?..»

Ветер несёт им печальный ответ:
– Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге – не ест и не пьёт,
Червь ему сердце больное сосёт,

Руки, что вывели борозды эти,
Высохли в щепку, повисли, как плети.

Очи потускли, и голос пропал,
Что заунывную песню певал,

Как, на соху налегая рукою,
Пахарь задумчиво шёл полосою.

ШКОЛЬНИК

– Ну, пошёл же, ради Бога!
Небо, ельник и песок –
Невесёлая дорога...
– Эй! садись ко мне, дружок!

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь.

Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идёшь...
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.

Знаю: старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила на чаёк.

Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый –
Не робей, не пропадёшь!

Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете –
Кто-нибудь свезёт в Москву,
Будешь в университете –
Сон свершится наяву!

Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь...
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!

Не бездарна та природа,
Не погиб ещё тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, –

Сколько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

НИКИТИН ИВАН САВВИЧ
(1824-1861)

РУСЬ

Под большим шатром
Голубых небес –
Вижу даль степей
Зеленеется.
И на гранях их,
Выше тёмных туч,
Цепи гор стоят
Великанами.
По степям в моря
Реки катятся,
И лежат пути
Во все стороны.
Посмотрю на юг –
Нивы зрелые,
Что камыш густой,
Тихо движутся.
Мурава лугов
Ковром стелется,
Виноград в садах
Наливается.
Гляну к северу –
Там, в глуши пустынь,
Снег, что белый пух,
Быстро кружится;
Подымает грудь
Море синее,
И горами лёд
Ходит по морю;
И пожар небес
Ярким заревом

Освещает мглу
Непроглядную...
Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
Православная!
Широко ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася!
У тебя ли нет
Поля чистого,
Где б разгул нашла
Воля смелая?
У тебя ли нет
Про запас казны,
Для друзей стола,
Меча недругу?
У тебя ли нет
Богатырских сил,
Старины святой
Громких подвигов?
Перед кем себя
Ты унизила?
Кому в чёрный день
Низко кланялась?
На полях своих,
Под курганами,
Положила ты
Татар полчища.
Ты на жизнь и смерть
Вела спор с Литвой
И дала урок
Ляху гордому.
И давно ль было,

Когда с Запада
Облегла тебя
Туча тёмная?
Под грозой её
Леса падали,
Мать сыра-земля
Колебалась,
И зловещий дым
От горевших сёл
Высоко вставал
Чёрным облаком!
Но лишь крикнул царь
Свой народ на брань –
Вдруг со всех концов
Поднялася Русь.
Собрала детей,
Стариков и жён,
Приняла гостей
На кровавый пир.
И в глухих степях,
Под сугробами,
Улеглись спать
Гости навеки.
Хоронили их
Вьюги снежные,
Бури севера
О них плакали!..
И теперь среди
Городов твоих
Муравьём кишит
Православный люд.
По седым морям
Из далёких стран
На поклон к тебе
Корабли идут.

И поля цветут,
И леса шумят,
И лежат в земле
Груды золота.
И во всех концах
Света белого
Про тебя идёт
Слава громкая.
Ужи есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!

* * *

В синем небе плывут над полями
Облака с золотыми краями;
Чуть заметен над лесом туман,
Тёплый вечер прозрачно-румян.
Вот уж веет прохладой ночью;
Грезит колос над узкой межою;
Месяц огненным шаром встаёт,
Красным заревом лес обдаёт.
Кротко звёзд золотое сиянье,
В чистом поле покой и молчанье;
Точно в храме, стою я в тиши
И в восторге молюсь от души.

ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1825-1893)



СТАРИК

У лесной опушки домик небольшой
Посещал я часто прошлую весной.

В том домишке бедном жил седой лесник.
Памятен мне долго будешь ты, старик.

Как приходу гостя радовался ты!
Вижу как теперь я добрые черты...

Вижу я улыбку на лице твоём –
И морщинкам мелким нет числа на нём!

Вижу армячишко рваный на плечах,
Шапку на затылке, трубочку в зубах;

Помню смех твой тихий, взгляд потухших глаз,
О житье минувшем сбивчивый рассказ.

По лесу бродили часто мы вдвоём;
Старику там каждый кустик был знаком.

Знал он, где какая птичка гнёзда вьёт,
Просеки, тропинки знал наперечёт.

А какой охотник был до соловьёв!
Всю-то ночь, казалось, слушать он готов,

Как в зелёной чаще песни их звучат;
И ещё любил он маленьких ребят.

На своём крылечке сидя каждый день,
Ждёт, бывало, деток он из деревень.

Много их сбегалось к деду вечерком;
Щебетали, словно птички перед сном:

«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток».
«Дедушка, найди мне беленький грибок».

«Ты хотел мне нынче сказку рассказать».
«Посулил ты белку, дедушка, поймать». —

«Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!»

И, смеясь, рукою дряхлой гладил он
Детские головки, белые как лён.

Ждал поры весенней с нетерпеньем я:
Думал, вот приеду снова в те края

И отправлюсь к другу старому скорей.
Он навстречу выйдет с трубочкой своей

И начнёт о сельских новостях болтать.
По лесу бродить с ним будем мы опять,

Слушая, как в чаще свищут соловьи...
Но, увы! желанья не сбылись мои.

Как с деревьев падать начал лист сухой,
Смерть подкралась к деду тихой стопой.

Одинок угас он в домике своём,
И горюют детки больше всех по нём:

«Кто поймает белку, сделает свисток?»
Долго будет мил им добрый старичок.

И где спит теперь он непробудным сном,
Часто голоса их слышны вечерком...



СУРИКОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ
(1841-1880)

В НОЧНОМ

Летний вечер. За лесами
Солнышко уж село;
На краю далёком неба
Зорька заалела,

Но и та потухла. Топот
В поле раздаётся:
То табун коней в ночное
По лугам несётся.

Ухватя коней за гриву,
Скачут дети в поле,
То-то радость и веселье,
То-то детям воля!

По траве высокой кони
На просторе бродят;
Собралися дети в кучку,
Разговор заводят.

Мужички сторожевые
Улеглись под лесом
И заснули... Не шелóхнет
Лес густым навесом.

Всё темней, темней и тише...
Смолкли к ночи птицы;
Только на небе сверкают
Дальние зарницы.

Кой-где звякнет колокольчик,
Фыркнет конь на воле,
Хрупнет ветка, куст – и снова
Всё смолкает в поле.

И на ум приходят детям
Бабушкины сказки:
Вот с метлой несётся ведьма
На ночные пляски;

Вот над лесом мчится леший
С головой косматой,
А по небу, сыпля искры,
Змей летит крылатый.

И какие-то все в белом
Тени в поле ходят...
Детям боязно – и дети
Огонёк разводят.

И трещат сухие сучья,
Разгораясь жарко,
Освещая тьму ночную
Далеко и ярко.

ГАРШИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ
(1855-1888)



СКАЗКА О ЖАБЕ И РОЗЕ

Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решётка с колышками, обделанными в виде четырёхгранных пик, когда-то выкрашенная зелёной масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчишки и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал несколько не хуже. Остатки решётки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелёными кучками, с разбросанными кое-где блед-

но-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Жёлтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки ещё выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться её тёмною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетающая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неё всё было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего её тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был её словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабыи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть её к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдохнуть.

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиня-

ло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несётся этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Ещё в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашёл маленький мальчик, который целое лето сидел в нём каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесённую с собой книжку.

– Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? – спрашивает из окна сестра. – Может быть, ты с ним побегаешь?

– Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окружённым мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бежит вверх к своим коровам – травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хит-

рую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелёными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.

– Вася, милый, иди домой, сыро становится, – громко сказала сестра.

И ёжик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверёк ещё больше съёжился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ёжиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда ёж попробовал молока из принесённого хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.

– Маша! – вдруг шепчет он сестре.

– Что, милый?

– Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щёку и при этом незаметно стирает слезинку.

– Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдём туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

– Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце, он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходявшее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Её заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и всё смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:

– Пстой, – прохрипела она, – я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг неё, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда – не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших её своим пристальным взглядом.

Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.

– Я тебя слопаю! – повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило ещё ужаснее, и переползла поближе к розе.

– Я тебя слопаю! – повторила она, всё глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: её плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

– Господи! – молилась она, – хоть бы умереть другою смертью!

А жаба всё карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зелёная гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок...

– Я сказала, что я тебя слопаю! – повторила она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; её царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего её и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошёл полдень, роза почти забыла о своём враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчёлы, жужжа, садились иногда в её раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от жёлтой цветочной пыли. Прилетел соловей,

забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поёт для неё, а может быть, это была и правда. Она не видела, как её враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала её, но она храбро лезла всё вверх – и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение:

– Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабы глаза пристально смотрели на неё с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает...

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у неё лежала развёрнутая книга, но она не читала её. Понемногу её усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

– Маша, – вдруг прошептал он.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовёт её. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.

– Что, милый?

– Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне... одну?

– Можно, голубчик, можно! – Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза. – Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе её сюда на столик в стакане? Да?

– Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило её, и от свежего воздуха у неё слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.



Гаршин В.М.
«Сказка о жабе и розе»

– Ах, какая гадость! – вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула её: жаба свалилась на землю и шлёпнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать ещё раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.

– Дай её мне, – прошептал он. – Я понюхаю.

Сестра вложила стебелёк ему в руку и помогла подвинуть её к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

– Ах, как хорошо...

Потом его личико сделалось серьёзным и неподвижным, и он замолчал... навсегда.

Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что её срезали недаром. Её поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила её на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с её щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, её положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Поэтому-то я и знаю всю эту историю.



**РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
конца XIX –
начала XX века**



ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1828-1910)

ДЕТСТВО (Отрывок)

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своём высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Матап говорит с кем-нибудь, и звуки голоса её так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на её лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая – лицо её не больше пуговики; но оно мне всё так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть её такой крошечной. Я прищуриваю глаза ещё больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился – и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

– Ты опять заснёшь, Николенька, – говорит мне матап, – ты бы лучше шёл наверх.

– Я не хочу спать, мамаша, – ответишь ей, и неясные, но сладкие грёзы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, вприсонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по од-

ному прикосновению узнаёшь её и ещё во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмёшь к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; мама сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:

– Вставай, моя душечка: пора идти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют её: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но ещё крепче целую её руку.

– Вставай, мой ангел.

Она другой рукой берёт меня за шею, и пальчики её быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу её запах и голос. Всё это заставляет меня вскочить, обвить руками её шею, прижать голову к её груди и, задыхаясь, сказать:

– Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берёт обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладёт к себе на колени.

– Так ты меня очень любишь? – Она молчит с минуту, потом говорит: – Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамашы, ты не забудешь её? не забудешь, Николенька?

Она ещё нежнее целует меня.

– Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! – вскрикиваю я, целуя её колени, и слёзы ручьями льются из моих глаз – слёзы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придёшь на верх и станешь перед иконами, в своём ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз

лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернёшься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, — но о чём они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым, — и так жалко станет, так полюбишь его, что слёзы потекут из глаз, и думаешь: «Дай Бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнёшь в угол пуховой подушки и любишься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Ещё молишься о том, чтобы дал Бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернёшься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснёшь тихо, спокойно, ещё с мокрым от слёз лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная весёлость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слёзы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слёзы эти и навевал сладкие грёзы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжёлые следы в моём сердце, что навеки отошли от меня слёзы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

МАМИН-СИБИРЯК ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ (1852-1912)



ПРИЁМЫШ

Из рассказов старого охотника

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно когда впереди есть тёплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь – тёплый. В городе в такую погоду – грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идёте по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбацкой сайме³³ Тарасу. Дождь уже редел.

³³ Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка)

На одной стороне неба показались просветы, ещё немножко – и покажется горячее летнее солнце. Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озёрами, и сайма приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились рыбацьи лодки. Проток между озёрами образовался благодаря большому лесистому острову, разлэгшемуся зелёной шапкой напротив саймы.

Моё появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса, – на незнакомых людей она всегда лаяла особым образом, отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: «Кто идёт?» Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх дном большой лодкой, – это горбилась старая деревянная крыша, проросшая весёлой зелёной травой. Кругом избушки поднималась густая поросль из иван-чая, шалфея и «медвежьих дудок», так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пёстрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

– Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, ещё не верил в старое знакомство. Он осторожно подошёл, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, – а всё-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Кругом избушки всё говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонёк,

охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева. В приотворённую дверь саймы виднелось всё хозяйство Тараса: ружьё на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель рабочих. Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатах. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет. Я говорю «около», потому что сам Тарас забыл, когда он родился. «Ещё до француза», как объяснял он, то есть до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонёк, пустив кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошёл. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кончался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное – этого спокойствия, которое охватывало здесь. Хорошо на сайме!.. Весело горит яркий огонёк; начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы

здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным приволем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнём. Вода уже начинала кипеть, а старика всё не было.

– Куда бы ему деться? – раздумывал я вслух. – Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса... Соболько, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала.

По наружности Соболько принадлежал к типу так называемых «промысловых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоминал обыкновенную дворнягу, с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы «облаять» глухаря, выследить оленя, – одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все её достоинства.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке чёрной точкой показалась рыбацья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом – настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых без основания «душегубками». Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плившего перед лодкой лебедя.

– Ступай домой, гуляка! – ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. – Ступай, ступай... Вот я тебе дам – уплывать Бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых чёрных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими большими серыми глазами. Он всё лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубашке из крестьянского синего холста.

– Здравствуй, Тарас!

– Здравствуй, барин!

– Откуда Бог несёт?

– А вот за Приёмышем плавал, за лебедем... Всё тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал... Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро – нет; по заводям проплыл – нет; а он за островом плавает.

– Откуда достал-то его, лебедя?

– А Бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался, ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну, и поймал его. Пропадёт один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в нём ещё настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привёз и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живём вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждёт, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковывлял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

– Улетит он у тебя, дедушка... – заметил я.

– Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

– А зимой?

– Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит,

а нам с Собољком веселей. Как-то один охотник забрёл ко мне на сайму, увидал лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить Божью птицу? Пусть живёт, как ей от Господа указано... Человеку указано одно, а птице – другое... Не возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

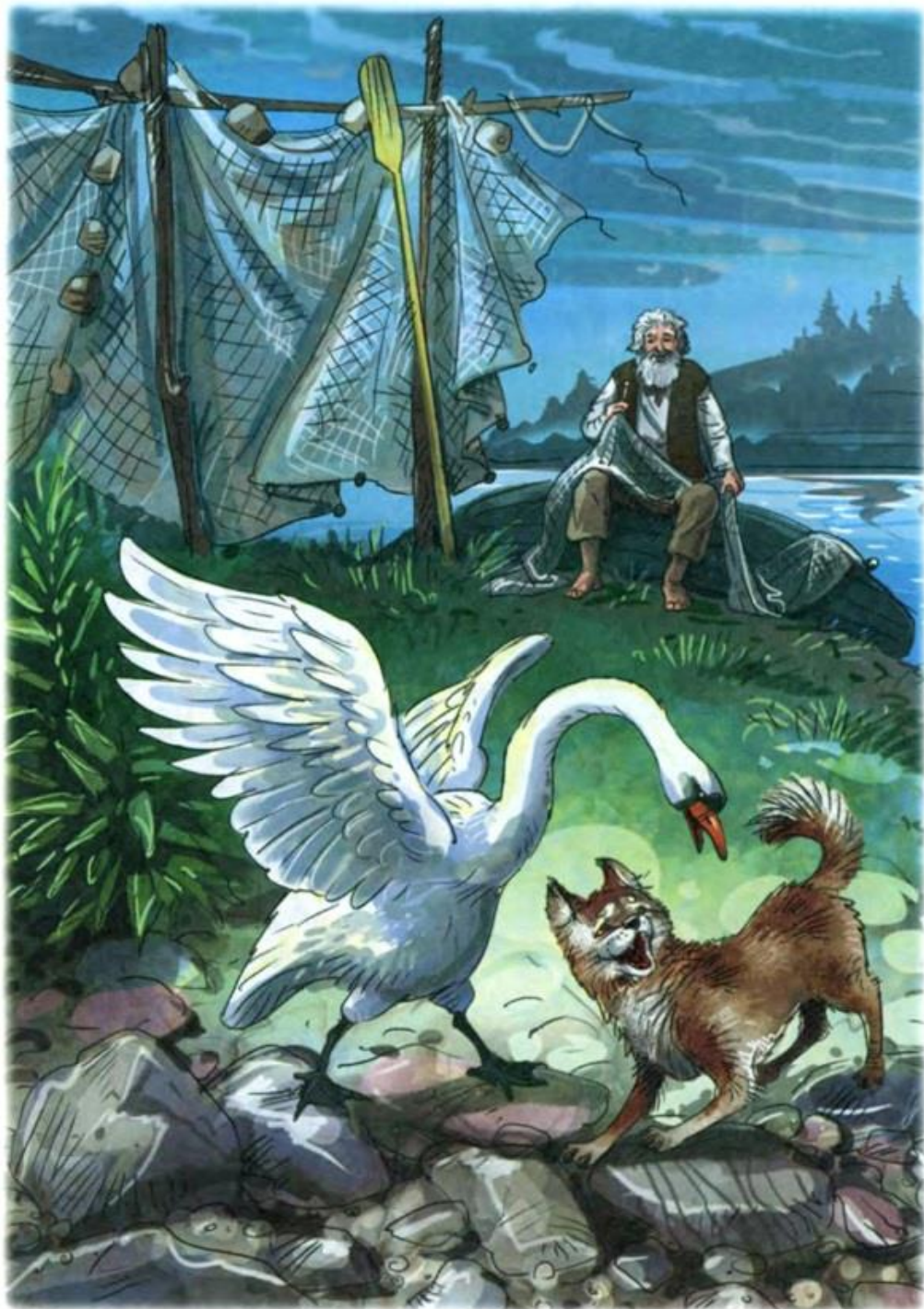
Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

– А как он с Собољком? – спросил я.

– Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Собољка и кусок отнимает. Пёс заворчит на него, а лебедь его – крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Собољко – по берегу. Пробовал пёс плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывёт, Собољко ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердешный. Так вот и живём втроём.

Я очень любил старика. Рассказывал уж он очень хорошо и знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаёшь что-нибудь новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом вёрст на пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. На лодке плавать легче, чем ходить с ружьём по лесу, а особенно по горам. Теперь ружьё оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Собољка. Только Собољко был хитёр и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и недаром оно названо Светлым, – вода в нём совер-



Мамин-Сибиряк Д.Н.
«Приёмыш»

шенно прозрачная, так что плывёшь на лодке и видишь всё дно на глубине нескольких сажен. Видны и пёстрые камешки, и жёлтый речной песок, и водоросли, видно, как и рыба ходит «руном», то есть стадом. Таких горных озёр на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой. От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу вёрст. Длинной озеро было до двадцати вёрст да в ширину около девяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати... Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отделился на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья и дом, а теперь он жил бобылём. Дети перемёрли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

– Не скучно тебе, дедушка? – спросил я, когда мы возвращались с рыбной ловли. – Жутко одинокому-то в лесу...

– Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь князем живу. Всё у меня есть... И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю всё. Сердце радуется в другой раз посмотреть на Божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Собољком. Ах, прокурат!..

Старик ужасно был доволен своим Приёмьшем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

– Гордая, настоящая царская птица, – объяснил он. –

Помани его кормом, да не дай, в другой раз и не пойдёт. Свой характер тоже имеет, даром что птица... С Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанёт. Известно, пёс в другой раз сорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

– Ужо по осени приходи, – говорил старик на прощанье. – Тогда рыбу лучить будем с острой. Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

– Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул:

– Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Собольком...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем напал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребёнок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на берёзах ещё оставался жёлтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега жёлтой щёткой. Мёртвая тишина царила кругом, точно природа, утомлённая летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжёлая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей её высокой травы.

Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом ещё издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

– Здравствуй, старина!..

– Здравствуй, барин!

– Ну, как поживаешь?

– Да ничего... По осени-то, к первому снегу, прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня завсегда так бывает.

Старик действительно имел утомлённый вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал своё горе.

– Помнишь, барин, лебедя-то?

– Приёмьша?

– Он самый... Ах, хороша была птица!.. А вот мы опять с Собольком остались одни... Да, не стало Приёмьша.

– Убили охотники?

– Нет, сам ушёл... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не водился!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шёл. Плавает он по озеру, – я его кликну, он и подплывает. Учёная птица. И ведь совсем привыкла... да! Уж в заморозки грех вышел. На перелёте стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я люблюсь. Пусть Божья птица с силой соберётся: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приёмьш сначала сторонился от других лебедей: подплывёт к ним – и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Всё, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приёмьш затосковал... Вот всё равно как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

– Ну, и что же, дедушка?

– Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человеческим языком: «Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в тёплую сторону полетят, а что я с вами тут буду зимой делать?» Ах ты, думаю, задача! Пустить – улетит за стадом и пропадёт...

– Почему пропадёт?

– А как же?.. Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята – отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: всё дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелёту. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приёмыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру – только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадёт... Непривычен к дальнему лёту.

Старик опять замолчал.

– А пришлось выпустить, – с грустью заговорил он. – Всё равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приёмыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажень на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб, за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Собољком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Собољко, а где наш Приёмыш?» А Собољко сейчас

вить... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам всё грезилось, что Приёмш- то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду – никого нет... Вот какое дело вышло, барин.



ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ
(1860-1904)

БЕЛОЛОБЫЙ

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и тёмная унавоженная дорога пугали её; ей казалось, будто за деревьями в потёмках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже немолода, и чутьё у неё ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьём, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребьятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у неё детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В вёрстах четырёх от её логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который всё кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днём бродил по лесу с ружьём-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» – и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При

нѐм находилась громадная чѐрная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперѐд, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошѐл с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробежала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Еѐ мучил голод, она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягнѐнка, и от таких мыслей зубы у неѐ щѐлкали и глаза светились в потѐмках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо, Арапка, должно быть, спала под сараем. По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на неѐ вдруг прямо в морду пахнуло тѐплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягнѐнок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и тѐплое, должно быть на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попало в зубы, и бросилась вон...

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

– Полный ход! Пошѐл к свистку!

И свистел, как машина, и потом – го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

Когда мало-помалу всё это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что еѐ добыча, которую она

держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто твёрже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облил свою помятую, раненую спину и как ни в чём не бывало замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щёлкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчётливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? – думала волчиха с досадой. – Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне её были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег,

а он всё стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая её лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; её мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его... Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперёд широкие лапы, положил на них морду и начал:

– Мня, мня... нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроём напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха подумала:

«Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блял ягнёнок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она всё щёлкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягнёнок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его...» – решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул её в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь...

К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушёл домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и её пугали пни, дрова, тёмные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то тёмное... Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая всё в сторону, обогнала тёмное пятно, оглянулась на него и узнала. Это не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», – подумала волчиха и быстро побежала вперёд.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идёт ли щенок, но едва пахнуло на неё тёплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, залихватый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял ещё громче... Арапка

проснулась под сараем и, почуяв волка, завывала, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

– Фюйть! – засвистел Игнат. – Фюйть! Гони на всех парах!

Он спустил курок – ружьё дало осечку; он спустил ещё раз – опять осечка; он спустил в третий раз – и громадный огненный снап вылетел из ствола, и раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружьё, а в другую топор, он пошёл посмотреть, отчего шум... Немного погодя он вернулся в избу.

– Что там? – спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

– Ничего... – ответил Игнат. – Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит всё как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушёл, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

– Глупый.

– Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! – вздохнул Игнат, полезая на печь. – Ну, божий человек, рано ещё вставать, давай спать полным ходом...

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, всё приговаривал:

– Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

МАЛЬЧИКИ

– **Володя** приехал! – крикнул кто-то во дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую. – Ах, Боже мой!

Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широ-

кие розвальни, и от тройки белых лошадей шёл густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в снях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он, от головы до ног, издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «брррр! Мать и тётка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сёстры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

– А мы тебя ещё вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи Боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я не отец, что ли?

«Гав! Гав!» – ревел басом Милорд, огромный чёрный пёс, стуча хвостом по стенам и мебели.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошёл, Королёвы заметили, что, кроме Володи, в передней находился ещё один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу, в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

– Володичка, а это же кто? – спросила шёпотом мать.

– Ах, – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса... Я привёз его с собой погостить у нас.

– Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука... Пожалуйста! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи Боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломлённые шумной встречей и всё ещё розовые от холода,

сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

– Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нараспев отец, крутя из тёмно-рыжего табаку папиросу. – А давно ли было лето, и мать плакала, тебя провожаячи? Ан ты и приехал... Время, брат, идёт быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придёт. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, – самой старшей из них было одиннадцать лет, – сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нём не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, всё время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и учёный человек. Он о чём-то всё время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чём-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда весёлый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сёстрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

– А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем

взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для ёлки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы.

Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

– Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

– Господи Боже мой, даже ножниц не дают! – отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорблённого человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для ёлки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чём-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

– Сначала в Пермь... – тихо говорил Чечевицын. – Оттуда в Тюмень... потом Томск... потом... потом... в Камчатку... Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив... Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.

– А Калифорния? – спросил Володя.

– Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.



Чехов А.П.
«Мальчики»

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потёр правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

– Вы читали Майн Рида?

– Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погружённый в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щёки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он ещё раз поднял глаза на Катю и сказал:

– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

– А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

– А что это такое?

– Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

– Господин Чечевицын.

– Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступил вечер, и сказала в раздумье:

– А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а всё думал о чём-то, – всё это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать

куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже всё готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придётся пройти пешком несколько тысяч вёрст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации.

Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю – «бледнолицый брат мой».

– Ты смотри же, не говори маме, – сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. – Володя привезёт нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

– Господи, прости меня, грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестёр. Катя и Соня понимали, в чём тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын.
– Говори: не поедешь?

– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.

– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

– Я... я не струсил, а мне... мне маму жалко.

– Ты говори: поедешь или нет?

– Я поеду, только... только погоди. Мне хочется дома пожить.

– В таком случае, я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А ещё тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сёстры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

– Так ты не поедешь? – ещё раз спросил Чечевицын.

– По... поеду.

– Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами, полными слёз, сказала:

– Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, всё было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда сели ужинать,

мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом «гав! гав!». Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и всё спрашивали, где продаётся порох). Володя как вошёл в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повёл Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай Бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно? Вы где ночевали?

– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова, только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».

БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
(1867-1942)

СНЕЖИНКА

Светло-пушистая,
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая!

Дорогою бурною
Легко проносится,
Не в высь лазурную,
На землю просится.

Лазурь чудесную
Она покинула,
Себя в неизвестную
Страну низринула.

В лучах блистающих
Скользит, умелая,
Средь хлопьев тающих
Сохранно-белая.

Под ветром веющим
Дрожит, взмывается,
На нём, лилеющем,
Светло качается.

Его качелями
Она утешена,
С его метелями
Крутится бешено.

Но вот кончается
Дорога дальняя,
Земли касается
Звезда кристальная.

Лежит пушистая,
Снежинка смелая.
Какая чистая,
Какая белая!

РОСИНКА

Росинка дрожала
На тонком листке.
Речонка дышала,
Шурша в тростнике.
В росинку гляжу я
И вижу, что в ней
Играет, ликуя,
Так много огней.
Их еле заметишь,
Так малы они.
Но где же ты встретишь
Такие огни?

КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1870-1938)



БАРБОС И ЖУЛЬКА

Барбос был невелик ростом, но приземист и широкогруд. Благодаря длинной, чуть-чуть вьющейся шерсти в нём замечалось отдалённое сходство с белым пуделем, но только с пуделем, к которому никогда не прикасались ни мыло, ни гребень, ни ножницы. Летом он постоянно с головы до конца хвоста бывал унизан колючими репьями, осенью же клоки шерсти на его ногах, животе были вечно в грязи. Уши Барбоса вечно носили на себе следы боевых схваток. Таких собак, как он, искони и всюду зовут Барбосами. Изредка только, да и то в виде исключения, их называют Дружками. Эти собаки, если не ошибаюсь, происходят от простых дворняжек и овчарок. Они отличаются верностью, независимым характером и тонким слухом.

Жулька также принадлежала к очень распространённой породе маленьких собак с гладкой чёрной шерстью и жёлтыми подпалинами над бровями и на груди. Основной чертой её характера была деликатная, почти застенчивая

вежливость. Это не значит, чтобы она тотчас же перевёртывалась на спину, начинала улыбаться или униженно ползала на животе, как только с ней заговаривал человек (так поступают все лицемерные, льстивые и трусливые собачонки). Нет, к доброму человеку она подходила с свойственной ей смелой доверчивостью, опиралась на его колено своими передними лапками и нежно протягивала мордочку, требуя ласки. Деликатность её выражалась главным образом в манере есть. Она никогда не попрошайничала, наоборот, её всегда приходилось упрашивать, чтобы она взяла косточку. Если же к ней во время еды подходила другая собака или люди, Жюлька скромно отходила в сторону с таким видом, который как будто бы говорил: «Кушайте, кушайте, пожалуйста... Я уже совершенно сыта...»

Конечно, Жюлька единогласно признавалась комнатной собачкой. Что касается до Барбоса, то нам, детям, очень часто приходилось его отстаивать от справедливого гнева старших и пожизненного изгнания во двор. Во-первых, он имел весьма смутные понятия о праве собственности, особенно если дело касалось съестных припасов, а во-вторых, не отличался аккуратностью в туалете. Этому разбойнику ничего не стоило уничтожить в один присест добрую половину жареного индюка или улечься, только что выскочив из глубокой и грязной лужи, на праздничное, белое как снег покрывало маминой кровати.

Летом к нему относились снисходительно, и он обыкновенно лежал на подоконнике раскрытого окна в позе спящего льва, уткнув морду между вытянутыми передними лапами. Однако он не спал: это замечалось по его бровям, всё время не перестававшим двигаться. Барбос ждал... Едва только на улице против нашего дома показывалась собачья фигура, Барбос стремительно скатывался с окошка, проскальзывал на брюхе в подворотню и, как молния, настигал соперника, грудью сшибал его с ног и начинал

грызнию. В течение нескольких минут среди густого столба коричневой пыли барахтались, сплетаясь клубком, два собачьих тела. Наконец Барбос одерживал победу. В то время, когда его враг обращался в бегство, поджимая хвост между ногами, визжа и трусливо оглядываясь назад, Барбос с гордым видом возвращался на свой пост на подоконник. Правда, что иногда при этом победном шествии он сильно прихрамывал, а уши его украшались лишними фестонами, но, вероятно, тем слаще казалась ему победа. Между ним и Жулькой царствовало редкое согласие и самая нежная любовь. Может быть, втайне Жулька осуждала своего друга за буйный нрав и дурные манеры, но, во всяком случае, явно она никогда этого не высказывала. Она даже и тогда сдерживала своё неудовольствие, когда Барбос, проглотив в несколько приёмов свой завтрак, нагло облизываясь, подходил к Жулькиной миске и засовывал в неё свою мокрую мохнатую морду. Вечером, когда солнце жгло не так сильно, обе собаки любили поиграть и повозиться на дворе. Они то бегали одна от другой, то устраивали засады, то с притворно-сердитым рычанием делали вид, что ожесточённо грызутся между собой.

Однажды к нам во двор забежала бешеная собака. Барбос видел её со своего подоконника, но, вместо того чтобы, по обыкновению, кинуться в бой, он только дрожал всем телом и жалобно повизгивал. Собака носилась по двору из угла в угол, нагоняя одним своим видом ужас и на людей, и на животных. Люди попрятались за двери и боязливо выглядывали из-за них. Все кричали, распоряжались, давали бестолковые советы и подзадоривали друг друга. Бешеная собака тем временем уже успела искушать двух свиней и разорвать нескольких уток.

Вдруг все ахнули от испуга и неожиданности. Откуда-то из-за сарая выскочила маленькая Жулька и во всю прыть своих тоненьких ножек понеслась наперерез бешеной собаке. Расстояние между ними уменьшалось с поразительной быстротой.

зительной быстротой. Потом они столкнулись... Это всё произошло так быстро, что никто не успел даже отозвать Жульку назад. От сильного толчка она упала и покатилась по земле, а бешеная собака тотчас же повернула к воротам и выскочила на улицу.

Когда Жульку осмотрели, то на ней не нашли ни одного следа зубов. Вероятно, собака не успела её даже укусить. Но напряжение героического порыва и ужас пережитых мгновений не прошли даром бедной Жульке... С ней случилось что-то странное, необъяснимое. Если бы собаки обладали способностью сходить с ума, я сказал бы, что она помешалась. В один день она исхудала до неузнаваемости; то лежала по целым часам в каком-нибудь тёмном углу, то носилась по двору, кружась и подпрыгивая. Она отказывалась от пищи и не оборачивалась, когда её звали по имени.

На третий день она так ослабела, что не могла приподняться с земли. Глаза её, такие же светлые и умные, как и прежде, выражали глубокое внутреннее мучение. По приказанию отца её отнесли в пустой дровяной сарай, чтобы она могла там спокойно умереть. Через час после того как Жульку заперли, к сараю прибежал Барбос. Он был сильно взволнован и принялся сначала визжать, а потом выть, подняв кверху голову. Иногда он останавливался на минуту, чтобы понюхать с тревожным видом и насторожёнными ушами щель сарайной двери, а потом опять протяжно и жалостно выл. Его пробовали отзывать от сарая, но это не помогало. Его гнали и даже несколько раз ударили верёвкой; он убегал, но тотчас же упорно возвращался на своё место и продолжал выть.

Так как дети вообще стоят к животным гораздо ближе, чем это думают взрослые, то мы первые догадались, чего хочет Барбос.

– Папа, пусти Барбоса в сарай. Он хочет проститься с Жулькой. Пусти, пожалуйста, папа, – пристали мы к отцу.

Он сначала сказал: «Глупости!» Но мы так лезли к нему и так хныкали, что он должен был уступить.

И мы были правы. Как только отворили дверь сарая, Барбос стремглав бросился к Жульке, бессильно лежавшей на земле, обнюхал её и с тихим визгом стал лизать её в глаза, в морду, в уши. Жулька слабо помахивала хвостом и старалась приподнять голову – ей это не удалось. В прощании собак было что-то трогательное.

Когда Барбоса позвали, он повиновался и, выйдя из сарая, лёг около дверей на земле. Он уже больше не волновался и не выл, а лишь изредка поднимал голову и как будто бы прислушивался к тому, что делается в сарае. Часа через два он опять завыл, но так громко и так выразительно, что кучер должен был достать ключи и отворить двери. Жулька лежала неподвижно на боку. Она издохла...



БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
(1870-1953)

МАТЕРИ

Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, тёплую кровать
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»

Бывало, раздевает няня
И полушёпотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К её плечу меня клонит.

Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь...
Я помню, помню голос твой!

Я помню ночь, тепло кровати,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки...
Не ты ли ангелом была?

ДЕТСТВО

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок – как шёлк...
Прильну к сосне корявой –
И чувствую: мне только десять лет,

А ствол – гигант, тяжёлый, величавый.
Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

РОДИНЕ

Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом чёрных хат...
Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей –
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей.
Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни вёрст брела
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик сберегла.



ЛИСТОПАД

(Отрывок)

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, ёлочки темнеют,
А между клёнами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихую вдовой
Вступает в пёстрый терем свой.
Сегодня, на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылёк
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,
Такое мёртвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,

Заворожённый тишиной;
Заквохчет дрозд, перелетая
Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льёт;
Играя, в небе промелькнёт
Скворцов рассыпанная стая –
И снова всё кругом замрёт.

Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой –
Предвестник долгого ненастья.

БРЮСОВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1873-1924)

ДЕТСКАЯ

Палочка-выручалочка,
Вечерняя игра!
Небо тени свесило,
Расшумимся весело,
Бегать нам пора!

Раз, два, три, четыре, пять,
Бегом тени не догнать.
Слово скажешь, в траву ляжешь,
Чёрной цепи не развяжешь.
Снизу яма, сверху высь,
Между них вертись, вертись.

Что под нами, под цветами,
За железными столбами?
Кто на троне? Кто в короне?
Ветер высью листья гонит
И уронит с высоты...
Я ли первый или ты?

Палочка-выручалочка,
То-то ты хитра!
Небо тени свесило,
Постучи-ка весело
Посреди двора.

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

Синие, чистые дали
Между зелёных ветвей
Бело-молочными стали...
Ветер играет смелей.

Говор негромкого грома
Глухо рокочет вдали...
Всё ещё веет истома
От неостывшей земли.

Птицы кричали и смолкли;
С каждым мгновеньем темней.
В небо выходит не полк ли
Сумрачных, страшных теней.

Вновь громовые угрозы,
Молнии резкий зигзаг.
Неба тяжёлые слёзы
Клонят испуганный мак.

Ливень, и буря, и где-то
Солнца мелькнувшего луч...
Русское, буйное лето,
Месяцы зноя и туч!

ПРИШВИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(1873-1954)



ВЫСКОЧКА

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и назвали мы её Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Бьюшку, Бьюшку все стали звать Вьюшкой. Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем при машине. Уйдёшь на охоту – и будь уверен: Вьюшка не пустит в машину врага.

Раз было, пришли мы с охоты, стали разводить машину, а Вьюшку пустили погулять. Весёлая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки – как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом.

Это у неё означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты, – известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Вьюшка

вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой.

Тогда, откуда ни возмись, сороки – скок-скок – и к самому носу собаки. Когда же Вьюшка повернула голову к одной, – хватать! – другая сорока с другой стороны – хватать! – и унесла косточку.

Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводком, в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и недолго думая собрались отнять у собаки вторую.

Говорят, что в семье не без урода, то же оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас то же было: все шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна Выскочка поскакала дуром.

«Тра-та-та-та-та!» – застрекотали все сороки.

Это у них значило:

«Скачи назад, скачи, как надо, как всему сорочьему обществу надо».

«Тра-ля-ля-ля-ля!» – ответила Выскочка.

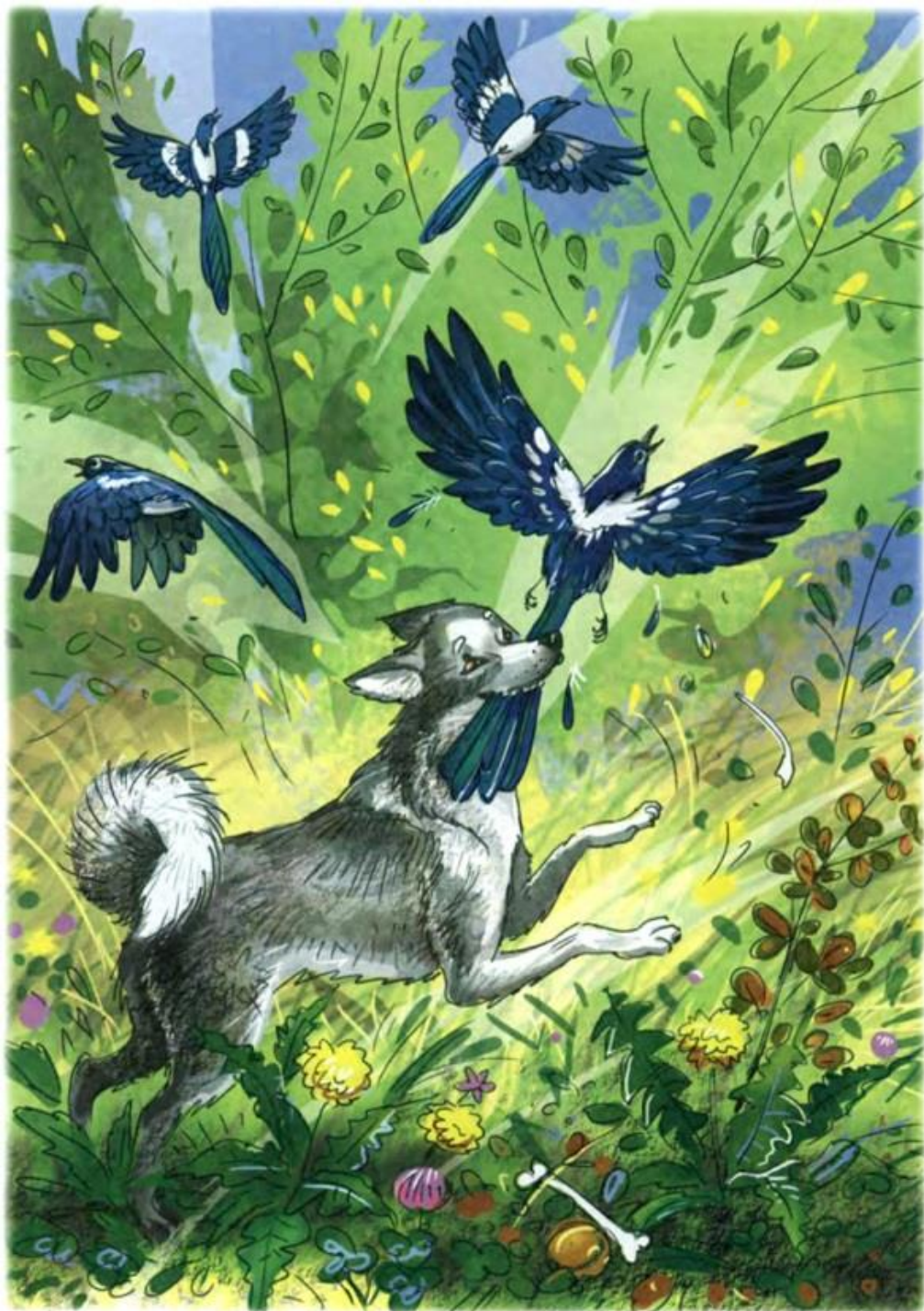
Это у неё значило:

«Скачите, как надо, а я – как мне самой хочется».

Так за свой страх и риск Выскочка подскакала к самой Вьюшке в том расчёте, что Вьюшка, глупая, бросится на неё, выбросит кость, она же изловчится и кость унесёт.

Вьюшка, однако, замысел Выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на неё, но, заметив Выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя – скок! и подумают, – наступали шесть *умных* сорок.

Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела



Пришвин М.М.
«Выскочка»

ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы. И только бы ещё одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко! Вот только-только бы подняться сороке, как Вьюшка схватила её за хвост – и кость выпала...

Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из пасти её длинным острым кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая пёстрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост. Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут ему в зад длинную соломинку и пустят эту крупную, сильную муху лететь с таким длинным хвостом, – гадость ужасная! Ну, так вот, это – муха с хвостом, а тут – сорока без хвоста: кто удивился мухе с хвостом, ещё больше удивится сороке без хвоста. Ничего сорочьего не остаётся тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пёстрый с головкой.

Бесхвостая Выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанию, по всей суете, что нет в сорочем быту большего сраму, как лишиться сороке хвоста.

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»

В одном болоте, на кочке под ивой, вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трёх из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих чёрных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых вышел один красавец, раз-

ноцветный селезень, и две уточки: Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнёзда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью.

И мы посадили на утиные яйца нашу важную чёрную курицу – Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали.

Через несколько дней наступила очень хорошая, тёплая погода, и Дуся повела своих чёрненьких к пруду, и Пиковая Дама своих – в огород, за червями.

«Свись-свись!» – утята в пруду.

«Кряк-кряк!» – отвечает им утка.

«Свись-свись!» – утята в огороде.

«Квох-квох!» – отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись!» – это значит: «Свой к своим!»

А «кряк-кряк» – значит: «Вы – утки, вы – кряквы, скорей плывите!»

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

«Свой к своим!»

И бегут.

«Плывите, плывите!»

И плывут.

«Квох-квох!» – упирается важная птица-курица на берегу.

Они всё плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, ра-

достно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушённая, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

«Дрянь-дрянь!» – отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной верёвочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, чёрненькие, с большими утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел.

Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в тёплой кухне возле плиты.

Утром, когда мы ещё спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И всё-таки в этой кутерме мы расслышали отдельно голос одного утёнка.

– Слышите? – спросил я своих ребят.

Они прислушались.

– Слышим! – закричали. И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утёнок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утёнок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали все мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утёнок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его каким-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утёнка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы – в кухню.

На полу вместе с Дусей бегал утёнок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключённые в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался.

Я сказал:

– Он что-то придумал.

– Он изобретатель! – крикнул Лёва.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.

И вот побелело окно. Стало светать.

«Кряк-кряк!» – проговорила Дуся.

«Свись-свись!» – ответил единственный утёнок.

И всё замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

«Кряк-кряк!» – повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда – сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка ещё не встала, и голова её ещё была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По её спине утёнок, как мышь, пробежал до края – и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утёнка, потом пять, и пошло, и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз.

А первого утёнка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.



БАЖОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
(1879-1950)

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку.

Спросил у соседей – нет ли кого, а соседи говорят:

– Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку, по шестому году, никому не надо. Вот ты и возьми её.

– Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я её учить-то стану?

Потом подумал-подумал и говорит:

– Знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба весёлые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдёт, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму её. Только пойдёт ли?

Соседи объясняют:

– Плохое житьё у неё. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сироту кормить, пока не подрастёт. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает её куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдёт от такого житья! Да и уговоришь, поди-ко.

– И то правда, – отвечает Кокованя. – Уговорю как-нибудь.

В праздничный день и пришёл он к тем людям, у кого сирота жила. Видит – полна изба народу, больших и маленьких. У печки девчонка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая, и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит.

Девчоночка эту кошку гладит, и она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно.

Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:

– Это у вас Григорьева-то подарёнка?

Хозяйка отвечает:

– Она самая. Мало одной-то, так ещё кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да ещё корми её.

Кокованя и говорит:

– Неласковые, видно, твои ребята. У ней-то мурлычет.

Потом и спрашивает у сиротки:

– Ну, как, подарёнушка, пойдёшь ко мне жить?

Девчоночка удивилась:

– Ты, дедо, как узнал, что меня Дарёнкой зовут?

– Да так, – отвечает, – само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.

– Ты хоть кто? – спрашивает девчоночка.

– Я, – говорит, – вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да всё увидеть не могу.

– Застрелишь его?

– Нет, – отвечает Кокованя. – Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.

– Тебе на что это?

– А вот пойдёшь ко мне жить, так всё и расскажу, – ответил Кокованя.

Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит – старик весёлый да ласковый. Она и говорит:

– Пойду. Только ты эту кошку, Мурёнку, тоже возьми: гляди, какая хорошая.

– Про это, – отвечает Кокованя, – что и говорить. Такую звонкую кошку не взять – дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет.

Хозяйка слышит разговор. Рада-радёшенька, что Коко-

ваня сиротку к себе зовёт. Стала скорей Дарёнкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал.

Кошка будто тоже понимает разговор. Трётся у ног-то да мурлычет: «Пр-равильно придумал. Пр-равильно».

Вот и привёл Кокованя сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый, а она махонькая, носишко пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободранная за ними попрыгивает.

Так и стали жить вместе – дед Кокованя, сиротка Дарёнка да кошка Мурёнка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житьё не плакались, и у всякого дело было.

Кокованя с утра на работу уходил, Дарёнка в избе прибирала, похлёбку да кашу варила, а кошка Мурёнка на охоту ходила, мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им.

Старик был мастер сказки сказывать. Дарёнка любила те сказки слушать, а кошка Мурёнка лежит да мурлычет: «Пр-равильно. Пр-равильно».

Только после всякой сказки Дарёнка напомним:

– Дедо, про козла-то скажи. Какой он?

Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:

– Тот козёл особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем – там и появится дорогой камень. Раз топнет – один камень, два топнет – два камня, а где ножкой бить станет – там груда дорогих камней.

Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Дарёнки только и разговору, что об этом козле.

– Дедо, а он большой?

Рассказал ей Кокованя, что ростом козёл не выше стола, ножки тоненькие, головка лёгонькая. А Дарёнка опять спрашивает:

– Дедо, а рожки у него есть?

– Рожки-то, – отвечает, – у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у этого на пять веток.

– Дедо, а он кого ест?

– Никого, – отвечает, – не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.

– Дедо, а шерстка у него какая?

– Летом, – отвечает, – буренькая, как вот у Мурёнки нашей, а зимой серенькая.

Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасётся. Дарёнка и давай проситься:

– Возьми меня, дедо, с собой! Может, я хоть сдалека того козлика увижу.

Кокованя и объясняет ей:

– Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберёшь, сколько на них веток. Зимой вот – дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот – Серебряное Копытце – всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.

Этим и отговорился. Осталась Дарёнка дома, а Кокованя в лес ушёл. Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Дарёнке:

– Ныне в Полдневской стороне много козлов пасётся. Туда и пойду зимой.

– А как же, – спрашивает Дарёнка, – зимой-то в лесу ночевать станешь?

– Там, – отвечает, – у меня зимний балаган у покосных ложек поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там.

Дарёнка опять спрашивает:

– Серебряное Копытце в той же стороне пасётся?

– Кто его знает. Может, и он там.

Дарёнка тут и давай проситься:

– Возьми меня, дедо, с собой! Я в балагане сидеть буду. Может, Серебряное Копытце близко подойдёт, я и погляжу.

Старик сперва руками замахал:

– Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь ещё!

Только Дарёнка никак не отстаёт:

– Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.

Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя: «Сводить разве? Раз побывает – в другой не запросится».

Вот он и говорит:

– Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не проситься.

Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил Кокованя в ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Дарёнка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да ещё верёвку.

«Нельзя ли, – думает, – этой верёвкой Серебряное Копытце поймать? »

Жаль Дарёнке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней:

– Мы, Мурёнка, с дедом в лес пойдём, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим Серебряное Копытце, так и воротимся. Я тебе тогда всё расскажу.

Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет: «Пр-равильно придумала. Пр-равильно».

Пошли Кокованя с Дарёнкой. Все соседи дивуются:

– Из ума выжил старик! Таковую маленькую девчонку в лес зимой повёл!

Как стали Кокованя с Дарёнкой из заводу выходить, слышат – собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, а это Мурёнка серединой улицы бежит, от собак отбивается.

Мурёнка к той поре поправилась. Большая да здоровая

стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют. Хотела Дарёнка кошку поймать да домой унести, только где тебе? Добежала Мурёнка до лесу – да на сосну. Поди поймай! Покричала Дарёнка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, а Мурёнка стороной бежит. Так и до балагана добралась.

Вот и стало их в балагане трое. Дарёнка хвалится:

– Веселее так-то!

Кокованя поддакивает:

– Известно, веселее.

А кошка Мурёнка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет: «Пр-равильно говоришь. Пр-равильно».

Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили – на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадьёю сходить, да как Дарёнку с кошкой в лесу оставить!

А Дарёнка по привычке в лесу-то. Сама говорит старику:

– Дедо, сходил бы ты на завод за лошадьёю. Надо ведь солонину домой перевезти.

Кокованя даже удивился:

– Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна! Как большая рассудила. Сам про то думал, да забоишься, поди, одна-то.

– Чего, – отвечает, – бояться! Сам же говоришь, что балаган у нас крепкий, волкам не добиться, да и не лезут они в это место. И Мурёнка со мной. Не забоюсь. А ты поскорее ворочайся всё-таки!

Ушёл Кокованя. Осталась Дарёнка с Мурёнкой. Днём-то привычно было без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал. Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит – Мурёнка лежит спокойнёхонько. Дарёнка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит – от лесу какой-то комочек катится. Как

ближе подкатился, разглядела: это козёл бежит. Ножки тоненькие, головка лёгонькая, а на рожках по пяти веточек. Выбежала Дарёнка поглядеть, а никого нет. Подождала-подождала, воротилась в балаган да и говорит:

– Видно, задремала я. Мне и показалось.

Мурёнка мурлычет: «Пр-равильно говоришь. Пр-равильно».

Легла Дарёнка с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошёл. Не воротился Кокованя. Скучненько стало Дарёнке, а не плачет. Гладит Мурёнку да приговаривает:

– Не скучай, Мурёнушка! Завтра дедо непременно придёт.

Мурёнка свою песенку поёт: «Пр-равильно говоришь. Пр-равильно».

Посидела опять Дарёнушка у окошка, полюбовалась на звёзды. Хотела спать ложиться – вдруг по стене топоток прошёл. Испугалась Дарёнка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом – где дверка, а там и сверху запостукивало. Негромко, будто кто лёгонький да быстрый ходит.

Дарёнка и думает: «Не козёл ли тот, вчерашний, прибежал? » И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит – а козёл тут, вовсе близко. Спокойненько стоит. Правую переднюю ножку поднял – вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Дарёнка не знает, что ей делать, да и манит его, как домашнего:

– Ме-ка! Ме-ка!

Козёл на это как рассмеялся! Повернулся и побежал по покосным ложкам. Пришла Дарёнушка в балаган, рассказывает Мурёнке:

– Поглядела я на Серебряное Копытце. И рожки видела, и копытце видела. Не видела, как тот козлик ножкой топает, дорогие камни выбивает. На другой раз, видно, покажет.

Мурёнка знай свою песенку поёт: «Пр-ра-вильно говоришь. Пр-равильно».

Третий день прошёл, а Коковани всё нет.

Вовсе затуманилась Дарёнка. Слёзки запокапывали. Хотела с Мурёнкой поговорить, а её нет.

Тут вовсе испугалась Дарёнушка, из балагана выбежала кошку искать.

Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Дарёнка – кошка близко, на покосном ложке сидит, а перед ней козёл. Мурёнка головой покачивает, и козёл тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать.

Бежит-бежит козёл, остановится и давай копытцем бить. Мурёнка подбежит – козёл дальше отскочит и опять копытцем бьёт.

Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились. Тут вспрыгнул козёл на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зелёные, бирюзовые – всякие.

К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней. Так и горит, переливается разными огнями. Наверху козёл стоит и всё бьёт да бьёт серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются.

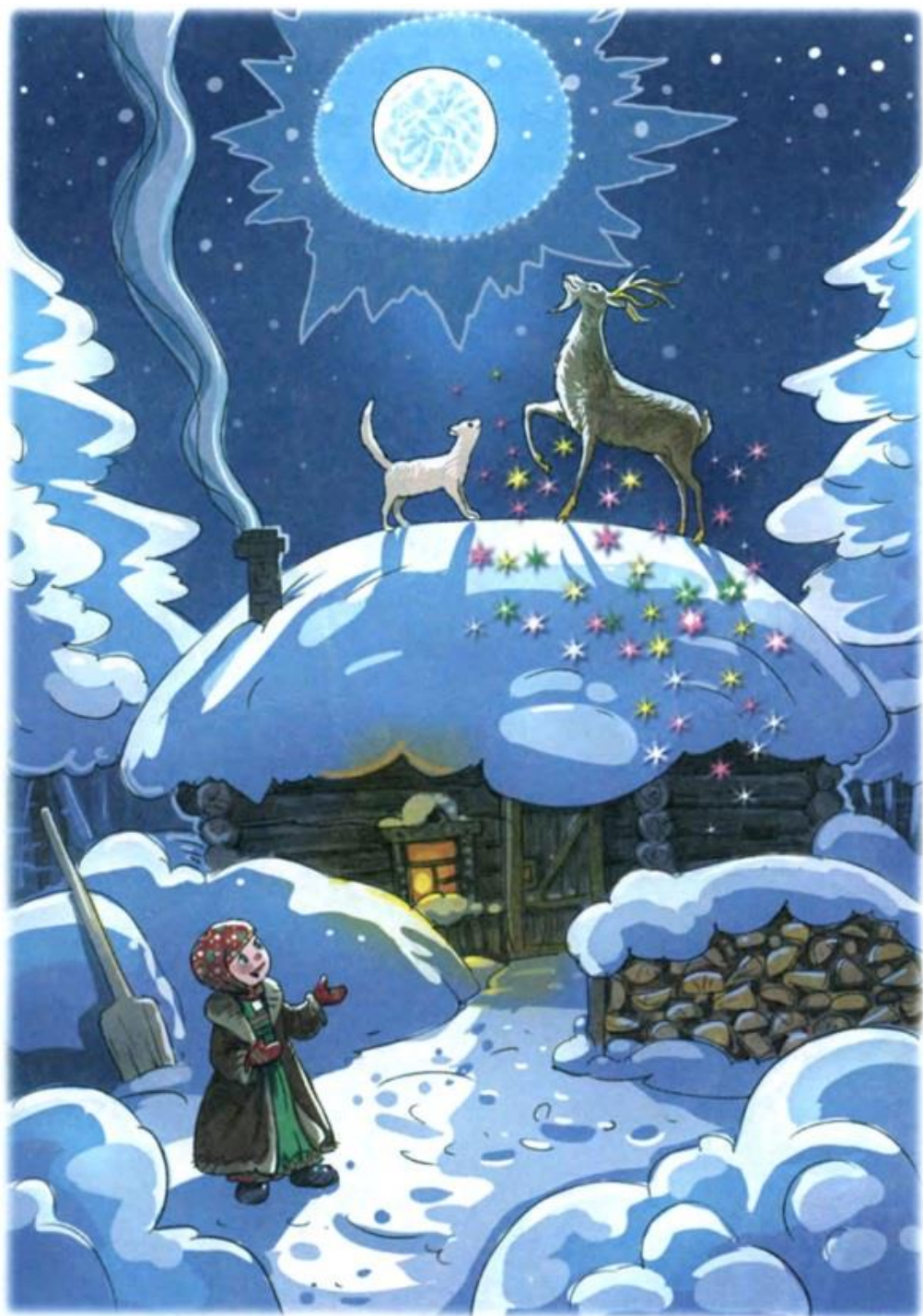
Вдруг Мурёнка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мякнула, и ни Мурёнки, ни Серебряного Копытца не стало.

Кокованя сразу полшапки камней нагрёб, да Дарёнка запросила:

– Не тронь, дедо! Завтра днём ещё на это поглядим.

Кокованя послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Все камни и засыпало.

Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку сгрёб.



Бажов П.П.
«Серебряное копытце»

Всё бы хорошо, да Мурёнки жалко. Больше её так и не видали, да и Серебряное Копытце тоже не показывался. Потешил раз – и будет.

А по тем покосным ложкам, где козёл скакал, люди камешки находить стали.

Зелёные больше. Хризолитами называются. Видели?

БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1880-1921)

СНЕГ ДА СНЕГ

Снег да снег. Всю избу занесло.
Снег белеет кругом по колено.
Так морозно, светло и бело!
Только чёрные, чёрные стены...

И дыханье выходит из губ
Застывающим в воздухе паром.
Вон дымок выползает из труб;
Вон в окошке сидят с самоваром;

Старый дедушка сел у стола,
Наклонился и дует на блюде;
Вон и бабушка с печки сползла,
И кругом ребятишки смеются.

Притаились ребята, глядят,
Как играет с котятками кошка...
Вдруг ребята пискливых котят
Побросали обратно в лукошко...

Прочь от дома на снежный простор
На салазках они покатали.
Оглашается криками двор –
Великана из снега слепили!

Палку в нос, провертели глаза
И надели лохматую шапку.
И стоит он, ребячья гроза,
Вот возьмёт, вот ухватит в охапку!

И хохочут ребята, кричат,
Великан у них вышел на славу!
А старуха глядит на внучат,
Не перечит ребячьему нраву.

* * *

Ветер принёс издалёка
Песни весенней намёк,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звёздные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принёс издалёка
Звучные песни твои.

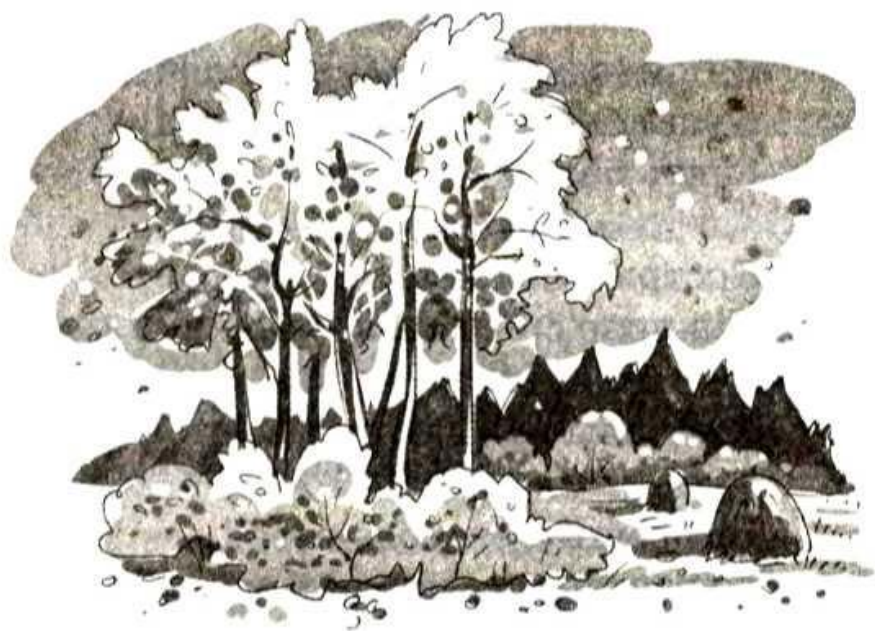
ОСЕННЯЯ РАДОСТЬ

Там неба осветлённый край
Средь дымных пятен.
Там разговор гусиных стай
Так вятен.

Свободен, весел и силён,
В дали любимой
Я слышу непомерный звон
Неуследимый.

Там осень сумрачным пером
Широко реет,

Там старый лес под топором
Редеет.



САША ЧЁРНЫЙ
(1880-1932)

* * *

Зимою всего веселей
Сесть к печке у красных углей,
Лепёшек горячих поесть,
В сугроб с голенищами влезть,

Весь пруд на коньках обежать
И бухнуться сразу в кровать.
Весною всего веселей
Кричать средь зелёных полей,

С барбоской сидеть на холме
И думать о белой зиме,
Пушистые вербы ломать
И в озеро камни бросать.

А летом всего веселей
Вишнёвый обкусывать клей,
Купаясь, всплывать на волну,
Гнать белку с сосны на сосну,

Костры разжигать у реки
И в поле срывать васильки...
Но осень ещё веселей!
То сливы срываешь с ветвей,

То рвёшь в огороде горох,
То взроешь рогатиной мох...
Стучит молотилка вдали —
И рожь на возах до земли...

КРОКОДИЛ

Я угрюмый крокодил
И живу в зверинце.
У меня от сквозняка
Ревматизм в мизинце.

Каждый день меня кладут
В длинный бак из цинка,
А под боком на полу
Ставят керосинку.

Хоть немного отойдешь
И попаришь кости...
Плачу, плачу целый день
И дрожу от злости...

На обед дают мне суп
И четыре шуки:
Две к проклятым сторожам
Попадают в руки.

Ах, на нильском берегу
Жил я без печали!
Негры сцапали меня,
С мордой хвост связали.

Я попал на пароход...
Как меня тошнило!
У! Зачем я вылезал
Из родного Нила?..

Эй, ты, мальчик, толстопуз, –
Ближе стань немножко...
Дай немножко откусить
От румяной ножки!

ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ
(1882-1938)

ПРО ОБЕЗЬЯНКУ

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

– Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил – думал, он мне сейчас шутку какую-нибудь устроит так, что искры из глаз посыплются, и скажет: «Вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.

– Ладно, – говорю, – знаем.

– Нет, – говорит, – в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Её Яшкой зовут. А папа сердится.

– На кого?

– Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я всё ещё не верил. «Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет?» И всё спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

– Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки чёрные. Как будто человечьи руки в перчатках чёрных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

– Яшка, Яшка, иди! Что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай, ай!» – и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул её в шинель, за пазуху.

– Идём, – говорит.

Я глазам своим не верил. Идём по улице, несём такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить:

– Всё ест, всё давай. Сладкое любит. Конфеты – беда. Дорвётся – непременно обожрётся. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрёт, а чай пить не станет.

Я всё слушал и думал: я ей и трёх кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

– Ты, – говорю, – хвост отрезал ей под самый корень?

– Она макака, – говорит Юхименко, – у них хвостов не растёт.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях.

Я говорю:

– А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто ещё ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову; толкнулся ножками – и на буфет. Всю причёску маме осадил.

Все вскочили, закричали:

– Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели – все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затаили:

– Какая хорошенькая!

А мама всё причёску прилаживала.

– Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

– Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул – стал чесаться мelenько и часто чёрной лапочкой.



Житков Б.С.
«Про обезьянку»

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

– Нельзя её на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету – он на печь. Я его оттуда щёткой – он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда – на картину, картина покосилась, – я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защёлкал языком – пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами и, казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

– Привязать. За жилет – и к ножке, к столу.

Я принёс верёвку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел верёвку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застёгивался на три пуговики. Потом я поднёс Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал верёвку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему было порвать верёвку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил чёрной лапочкой кусок, заткнул за щёку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие чёрные

ноготки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребёночек. И пощекотал ему ладошку. А ребёночек-то как дёрнет лапку – раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребёночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я всё прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на верёвке. Верёвка есть, на верёвке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстёгнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на верёвке, а сам драла. Я искать по комнате. Шлёпаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку – нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз – замёрзнет, бедный. И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу: в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичилась, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашёл сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что казалось – летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребёнок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь. Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушёл в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса верёвкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришёл домой, то из прихожей увидел, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнётся от косяка и едет до стены. Пихнёт ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанию. Ах ты дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески – все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвёт лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идёт утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх – никого. Только пошёл – хлоп, опять кусок извёстки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки извёстки, разложил по краям ступенек, а сам прилёг, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошёл, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, – это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его всё грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубашку и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрёшься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребёт мне бок: даёт мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец раздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждёт, – ёрзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке. Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем,

как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рас- смешило, он открыл крышку и поднёс Яшке. Яшка сразу запустил лапу, награбастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил – беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке всё остыло, тогда он только хватится – поковыряет, наспех глотнёт два куска.

– Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает – говорит.

Разошёлся – не унять. А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонечко подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

– И понимаете, тут как раз... – И остановил вилку с картошкой возле уха – на один момент всего.

Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял её с вилки – осторожно, как вор. А доктор дальше:

– И представьте себе... – И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился – думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается.

А Яшки уж нет – сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а всё-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простынёй, оде- яльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: всё наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платьице, зелёненькое, с пелерин- кой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яш- ка в зелёном платьице, в одной руке у него ламповое стек- ло, а в другой ёжик, и он ёжиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришёл, что не слышал, как я во- шёл. Это он видел, как стёкла чистили, и давай сам пробо- вать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернёт огонь полным пламенем – лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стало с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал и бил. Но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит – он вас уж очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь – конфет там или яблоко, – сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскрёбывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она красавица. Разряженная. Вся так шёлком и шуршит. На голове не причёска, а прямо целая беседка из волос накручена – в завитках, в локончиках. А на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

– Ах, какая обезьянка миловидная! – говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел – прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за причёску. Раскопал завитки и стал искать. Дама покраснела.

– Пошёл, пошёл! – говорит.

Не тут-то было! Яшка ещё больше старается: скребёт ноготками, зубками щёлкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркало, что взлохматил её Яшка,

– чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дёрнула его за шиворот, и своротил ей Яшка причёску.

Глянула на себя в зеркало – чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и в дверь.

– Безобразие, – говорит, – безобразие! – И не попрощалась ни с кем.

«Ну, – думаю, – держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмёт. Уж столько мне попадало за эту обезьянку».

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и ещё больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казённый уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пёс Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьёт и стоит над ней, рычит, а та уж и шелхнуться боится.

Я посмотрел в окно – вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелёнькое платьице, чтобы он не простудился, посадил к себе на плечо и пошёл. Только я двери раскрыл, Яшка – прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелёнькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка – сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке. Но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ощетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взвыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвёт Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошёл: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раз три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чём не бывало. Вот, мол, я, – мне нипочём!

А Каштан – в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца – все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелетает. Вскочит лошади на спину – лошадь топчется, гривой трясёт, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:

– Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка – на мешки. Ищет щёлочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щёлкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьёт за щёки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашёлся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой.

Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что

стояла под деревом. Яшка как увидел кота – прямо к нему. Присел и идёт не спеша на четырёх лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка всё ближе ползёт. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка – на скамью. Кот всё задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползёт на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг – прыг, да не на Яшку, а на дерево. Вцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка всё тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше – привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и всё не спеша, целится на кота чёрными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползёт и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползёт и ползёт, цепко перебирает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верху на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йау, йау!» – каким-то страшным, звериным голосом, – я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царём во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слёзы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает.

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему ещё дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми

днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. И как настала осень, все в доме в один голос:

– Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку. А чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал наконец товарища, отозвал в сторону и сказал:

– Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.



ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1895-1925)

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идём, бредём домой.
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
И сидим мы, еле дышим.
Время к полночи идёт.
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовёт.
Сказки все. Пора в постели...
Но а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.
Скажет бабушка несмело:
«Что ж сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело, —
Говори да говори.

* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тонкой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережёт голубую Русь
Старый клён на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого что тот старый клён
Головой на меня похож.

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Задремали звёзды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы.
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

ЛЕБЁДУШКА

Из-за леса, леса тёмного,
Подымалась красна зорюшка.
Рассыпала ясной радугой
Огоньки-лучи багровые.

Загорались ярким пламенем
Сосны старые, могучие,
Наряжали сетки хвойные
В покрывала златотканые.

А кругом роса жемчужная
Отливала блёстки алые,
И над озером серебряным
Камыши, склонясь, шептались.

В это утро вместе с солнышком
Уж из тех ли тёмных зарослей
Выплывала, словно зоренька,
Белоснежная лебёдушка.

Позади ватагой стройною
Подвигались лебежатушки,
И дробилась гладь зеркальная
На колечки изумрудные.

И от той ли тихой заводи,
Посередь того ли озера,
Пролегла струя далёкая
Лентой тёмной и широкою.

Уплывала лебедь белая
По ту сторону раздольную,
Где к затону молчаливому
Прилегла трава шелковая.

У побережья зелёного,
Наклонив головки нежные,
Перешёптывались лилии
С ручейками тихозвонными.

Как и стала звать лебёдушка
Своих малых лебежатушек
Погулять на луг пестреющий,
Пощипать траву душистую.

Выходили лебежатушки
Теребить траву-муравушку,
И росинки серебристые,
Словно жемчуг, осыпалися.

А кругом цветы лазоревы
Распускали волны пряные
И, как гости чужедальные,
Улыбались дню весёлому.

И гуляли детки малые
По раздолью по широкому,
А лебёдка белоснежная,
Не спуская глаз, дозорила.

Пролетал ли коршун рощею,
Иль змея ползла равниною,
Гоготала лебедь белая,
Созывая малых детушек.

Хоронились лебежатушки
Под крыло ли материнское,
И когда гроза скрывалася,
Снова бегали-резвилисья.

Но не чуяла лебёдушка,
Не видала оком доблестным,
Что от солнца золотистого
Надвигалась туча чёрная –

Молодой орёл под облаком
Расправлял крыло могучее
И бросал глазами молнии
На равнину бесконечную.

Видел он у леса тёмного,
На пригорке у расщелины,
Как змея на солнце выползла
И свилась в колечко, грелась.

И хотел орёл со злобою,
Как стрела, на землю кинуться.
Но змея его заметила
И под кочку притаилась.

Взмахом крыл своих под облаком
Он расправил когти острые
И, добычу поджидая,
Замер в воздухе распластанный.

Но глаза его орлиные
Разглядели степь далёкую,
И у озера широкого
Он увидел лебедь белую.

Грозный взмах крыла могучего
Отогнал седое облако,
И орёл, как точка чёрная,
Стал к земле спускаться кольцами.

В это время лебедь белая
Оглянула гладь зеркальную
И на небе отражавшемся
Увидала крылья длинные.

Встрепенулася лебёдушка,
Закричала лебежатушкам,
Собралися детки малые
И под крылья схоронилися.

А орёл, взмахнувши крыльями,
Как стрела, на землю кинулся,
И впилися когти острые
Прямо в шею лебединую.

Распустила крылья белые
Белоснежная лебёдушка
И ногами помертвелыми
Оттолкнула малых детушек.

Побежали детки к озеру,
Понеслись в густые заросли,
А из глаз родимой матери
Покатились слёзы горькие.

А орёл когтями острыми
Раздирал ей тело нежное,
И летели перья белые,
Словно брызги, во все стороны.

Колыхалось тихо озеро,
Камыши, склонясь, шепталися,
А под кочками зелёными
Хоронились лебежатушки.

**РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
XX века**



АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА
(1889-1966)

* * *

Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие
И тёплый ветер нежен и упруг.
И лёгкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаёшь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поёшь.

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

ПАСТЕРНАК БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ
(1890-1960)



ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озёра.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой –
Как венец на новобрачной.
Лик берёзы – под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребённая земля
Под листвой в канавах, ямах,
В жёлтых клёнах флигеля
Словно в золочёных рамах.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллеи
Эхо у крутого спуска
И зари вишнёвый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружия,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.



ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА
(1892-1941)



В КЛАССЕ

Скомкали фартук холодные ручки,
Вся побледнела, дрожит баловница.
Бабушка будет печальна: у внучки
Вдруг – единица!

Смотрит учитель, как будто не веря
Этим слезам в опустившемся взоре.
Ах, единица большая потеря!
Первое горе!

Слёзка за слёзкой упали, сверкая,
В белых кругах уплывает страница...
Разве учитель узнает, какая
Боль – единица?

ЗА КНИГАМИ

«Мама, милая, не мучь же!
Мы поедем или нет?»
Я большая, – мне семь лет,
Я упряма, – это лучше.

Удивительно упряма:
Скажут нет, а будет да.
Не поддамся никогда,
Это ясно знает мама.

«Поиграй, возьмись за дело,
Домик строй». – «А где картон?»
«Что за тон?» – «Совсем не тон!
Просто жить мне надоело!

Надоело... жить... на свете,
Все большие – палачи,
Давид Коперфильд...» – «Молчи!
Няня, шубу! Что за дети!»

Прямо в рот летят снежинки...
Огонёчки фонарей...
«Ну, извозчик, поскорей!
Будут, мамочка, картинки?»

Сколько книг! Какая давка!
Сколько книг! Я всё прочту!
В сердце радость, а во рту
Вкус солёного прилавка.

* * *

Бежит тропинка с бугорка,
Как бы под детскими ногами,
Всё так же сонными лугами
Лениво движется Ока;

Колокола звонят в тени,
Спешат удары за ударом,
И все поют о добром, старом,
О детском времени они.

О дни, где утро было рай,
И полдень рай, и все закаты!
Где были шпагами лопаты
И замком царственный сарай.

Куда ушли, в какую даль вы?
Что между нами пролегло?
Всё так же сонно-тяжело
Качаются на клумбах мальвы...



ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ (1892-1968)



КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелёными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живёт, как птица пересмешник, весёлое эхо. Оно только и ждёт, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками – дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать всё золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же

кованные листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

– Как тебя зовут, девочка? – спросил Григ.

– Дагни Педерсен, – вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

– Вот беда! – сказал Григ. – Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

– У меня есть старая мамина кукла, – ответила девочка. – Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у неё зеленоватые и в них поблёскивает огоньками листва.

– А теперь она спит с открытыми глазами, – печально добавила Дагни. – У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

– Слушай, Дагни, – сказал Григ, – я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

– Ой, как долго!

– Понимаешь, мне нужно её ещё сделать.

– А что это такое?

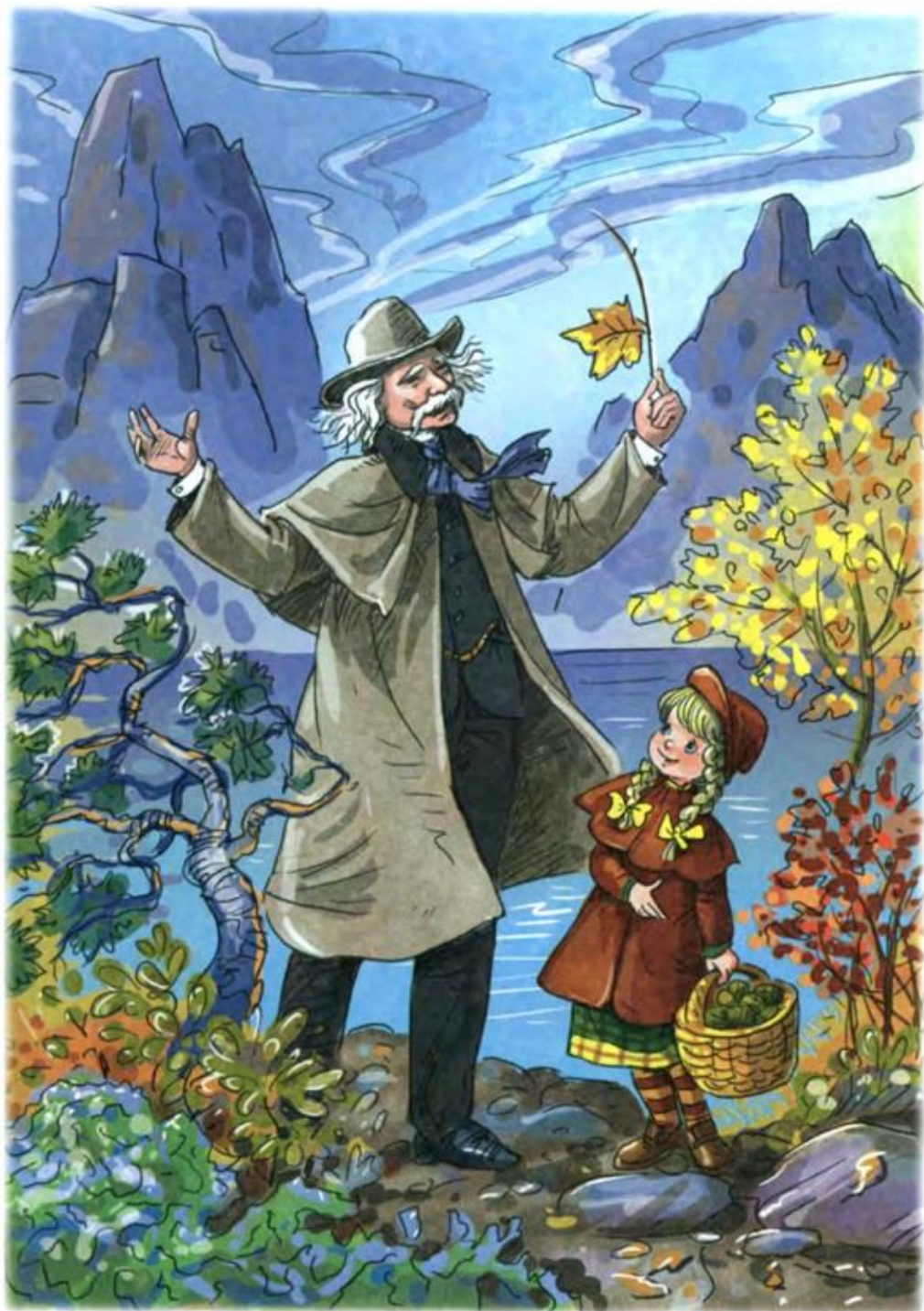
– Узнаешь потом.

– Разве за всю свою жизнь, – строго спросила Дагни, – вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

– Да нет, это не так, – неуверенно возразил он. – Я сделаю её, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

– Я не разобью, – умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. – И не сломаю. Вот увидите! У дедушки



Паустовский К.Г.
«Корзина с еловыми шишками»

есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с неё пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», – подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

– Ты ещё маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты её едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чём-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжёлая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

– Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

– Хагеруп, – ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: – Разве вы не зайдёте к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять её в руки.

– Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошёл в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из неё вываливались шишки.

«Я напишу музыку, – решил Григ. – На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен – дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене всё было по-старому.

Всё, что могло приглушить звуки, – ковры, портьеры и мягкую мебель – Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нём могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделён воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи – от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всём – о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и чёрные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине ещё долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сёстрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждёт и надо бы поторопиться, чтобы сделать всё, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошёл снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья. Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелёными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» – говорит она, сама ещё не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, – говорит ей Григ. – Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвёл белый цветок и наполнил всё твоё существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Чтобы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодёжи жизнь, работу, талант. Отдал всё без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты – белая ночь с её загадочным светом. Ты – счастье. Ты – блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно всё, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всём, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щёлку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около её босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил её в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал её ещё девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжёлыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждёт Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж её Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатухе под крышей театра. Оттуда был виден пёстрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит – «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тётушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шёлка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с чёрными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потёртых на сгибе.

Всё это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картины, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времён Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подниматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тётушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но всё же тётушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка, – сказал он, – это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актёр вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра – народным героем.

– Дагни, – кричала в таких случаях тётушка Магда, – заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был тёплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть своё единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в чёрном и, наоборот, в тёмные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела чёрное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав – ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и её длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

– Посмотри, Магда, – сказал вполголоса дядюшка Нильс, – Дагни так хороша, будто идёт на первое свидание.

– Вот именно! – ответила Магда. – Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришёл на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижёр, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на неё странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал её имя.

– Это ты меня звал, Нильс? – спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на неё, прижав ко рту платок, тётушка Магда.

– Что случилось? – спросила Дагни.

Магда схватила её за руку и прошептала:

– Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

– Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвящённая дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у неё заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слёзы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у неё шумела буря. Потом она наконец услышала, как поёт ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр. Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходящий от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был её лес, её родина! Её горы, песни рожков, шум её моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке – в её окно любимый бросил на рассвете горсть песка. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К

тому времени музыка заполнила всё пространство между землёй и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась лёгкая рябь. Сквозь неё светили звёзды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты – счастье, – говорил он. – Ты – блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом всё разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на неё. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! – думала Дагни. – Зачем?» Если б можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слёз щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» – «За что?» – спросил бы он. «Я не знаю... – ответила бы Дагни. – За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шёл Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи ещё лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного ещё ей самой, но охватившего всё её существо чувства красоты этого мира.

– Слушай, жизнь, – тихо сказала Дагни, – я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал её смех и пошёл домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что её жизнь не пройдёт даром.



ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(1894-1958)

ЁЛКА

В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю ёлку. Это много!

Ну первые три года жизни я, наверно, не понимал, что такое ёлка. Наверно, мама выносила меня на ручках. И наверно, я своими чёрными глазёнками без интереса смотрел на разукрашенное дерево.

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое ёлка.

И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздника. И даже в щёлочку двери подглядывал, как моя мама украшает ёлку.

А у меня была сестрёнка Лёля. Семи лет. Очень смелая, бойкая девочка. Она мне однажды сказала:

– Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, где стоит ёлка, и поглядим, что там делается.

Вот мы с сестрёнкой Лёлей вошли в комнату. И видим: очень красивая ёлка. А под ёлкой лежали подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки.

Моя сестрёнка Лёля говорит:

– Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по одной пастилке.

И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке.

Я говорю:

– Лёля, если ты съела пастилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем.

И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит:



Зоценко М.М.
«Ёлка»

– Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую пастилку съем и вдобавок возьму себе конфету.

А Лёля была очень высокая, длинновязая девочка. И она могла высоко достать.

Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую пастилку.

А я был удивительно маленького роста. И мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю:

– Если ты, Лёлища, съела вторую пастилку и вдобавок конфету, то я ещё раз откушу это яблоко.

И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю. Лёля говорит:

– Ну если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопущку и орех.

Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю:

– А я как подставлю к ёлке стул да как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.

И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к ёлке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но он снова упал. И прямо на подарки.

Лёля говорит:

– Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку.

Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит:

– Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.

Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями.

И тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке, открыла дверь и сказала:

– Все входите.

И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка. А наша мама говорит:

– Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение.

И дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, пастилку и конфету и тоже дарила ребёнку. И все дети были очень довольны.

Но вот наша мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:

– Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?

Лёля сказала:

– Это Минькина работа.

Я дёрнул Лёлю за косичку и сказал:

– Это меня Лёля научила.

Мама говорит:

– Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать обкусанное яблоко.

И она взяла паровозик и подарила его одному четырёх-летнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть.

И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:

– С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком.

И я сказал:

– Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.

И та мама удивилась моим словам и сказала:

– Наверно, ваш мальчик будет разбойник.

И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме:

– Вы не смеее так говорить про моего мальчика. Луч-

ше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше не приходите.

И та мама сказала:

– Я так и сделаю. С вами водиться, что в крапиву садиться.

И тогда ещё одна, третья мама сказала:

– И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой.

И моя сестрёнка Лёля закричала:

– Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне останется.

И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:

– Вообще все можете уходить, и тогда все игрушки нам останутся.

И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни.

И вдруг в комнату вошёл наш папа. Он сказал:

– Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтоб мои дети были жадные и злые. И я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.

И наш папа подошёл к ёлке и потушил все свечи. И потом сказал:

– Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям.

И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и я до сих пор хорошо помню эту ёлку.

И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно весёлый и добродушный.

Когда я был маленьким, я очень любил ужинать со взрослыми.

И Лёля любила такие ужины не меньше, чем я.

Во-первых, на стол ставилась вкусная еда. И эта сторона дела нас с Лёлей в особенности прельщала. Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали забавные факты из жизни. Это нас с Лёлей тоже до некоторой степени интересовало.

Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо. Но потом осмелели. Лёля стала вмешиваться в разговоры. Тараторила без конца. И я тоже иной раз вставлял свои замечания.

Наши замечания сместили гостей. И мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие.

Но потом вот что произошло на одном ужине.

Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю. О том, как он спас пожарного. Этот пожарный угорел на пожаре. И папин начальник вытащил его из огня.

Нет, возможно, что это был факт, но только нам с Лёлей этот рассказ не особенно понравился.

И Лёля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только ещё более интересную. И ей поскорей хотелось рассказать эту историю, чтоб её не забыть.

Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно.

И Лёля не могла более терпеть.

Махнув рукой в его сторону, она сказала:

– Это что! Вот у нас во дворе одна девочка...

Лёля не закончила свою мысль, потому что мама на неё шикнула. И папа на неё строго посмотрел.

Папин начальник покраснел. Ему неприятно стало, что про его рассказ Лёля сказала «это что».

Обратившись к нашим родителям, он сказал:

– Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми. Они меня перебивают. И вот я теперь потерял нить моего рассказа. На чём я остановился?

Лёля, желая загладить происшествие, сказала:

– Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам «мерси». Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший и лежал, наверно, без сознания... Вот у нас одна девочка во дворе...

Лёля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от мамы шлепок.

Гости заулыбались. И папин начальник ещё более покраснел от гнева.

Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Лёле:

– Лёля, ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря какие угоревшие, Лёля. Другие угоревшие пожарные хотя и лежат в обмороке, но всё-таки они говорить ещё могут. Они бредят. И говорят, сами не зная что. Вот он и сказал – мерси. А сам, может, хотел сказать «караул».

Гости засмеялись. А папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим родителям:

– Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не дают – всё время перебивают глупыми замечаниями.

Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, поглядывая на Лёлю:

– Вместо того чтобы раскаяться в своём поведении, она снова принялась за еду. Смотрите, она даже аппетита не потеряла – кушает за двоих...

Лёля не посмела громко возразить бабушке. Но тихо она прошептала:

– На сердитых воду возят.

Бабушка не расслышала этих слов. Но папин начальник, который сидел рядом с Лёлей, принял эти слова на свой счёт, тем более что он-то и был сердит.

Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал.

Обратившись к нашим родителям, он так сказал:

– Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю ваших детей, мне прямо неохота к вам идти. Они меня забывают до того, что пища на ум не идёт. Они тут сами говорят и сами кушают. На что вам в таком случае гости.

Папа сказал:

– Ввиду того что дети, действительно, вели себя развязно и тем самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со взрослыми. Пусть они допьют чай и уходят в свою комнату.

Доев сардинки, мы с Лёлей удалились под весёлый смех и шутки гостей.

И с тех пор мы два месяца не садились вместе со взрослыми.

А спустя два месяца мы с Лёлей стали уговаривать нашего отца, чтоб он нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот день в прекрасном настроении, сказал:

– Хорошо, я разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-либо говорить за столом. Одно ваше слово, сказанное вслух, и более вы за стол не сядете.

И вот, в один прекрасный день, мы снова за столом — ужинаем со взрослыми.

На этот раз мы сидели тихо и молчаливо. Мы знаем папин характер. Знаем, что, если скажем хоть полслова, наш отец никогда более не разрешит нам есть со взрослыми.

Но от этого запрещения мы не очень страдаем. Мы с Лёлей едим за четверых и между собой пересмеиваемся.

Мы считаем, что взрослые даже прогадали, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком заняты едой.

Мы съели всё, что было возможно, и перешли на сладкое.

Съев сладкое и выпив чай, мы с Лёлей решили пройтись по второму кругу – решили повторить еду с самого начала, тем более что наша мать, увидев, что на столе пусто, принесла новую еду.

Я взял булку и отрезал кусок масла. А масло было совершенно замёрзшее – его только что вынули из-за окна.

Это замёрзшее масло я хотел намазать на булку. Но мне это не удавалось сделать. Оно было как каменное.

И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем.

А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом папиного начальника, с которым я сидел рядом.

Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания.

Между тем нож согрелся над чаем. Масло немножко подтаяло. Я хотел его намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут моё масло неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай.

Я обмер от страха.

Вытаращенными глазами я смотрел на масло, которое плюхнулось в горячий чай.

Потом я оглянулся по сторонам. Но никто из гостей не заметил происшествия.

Только одна Лёля увидела, что случилось.

Она стала хихикать, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем.

Но она ещё больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай.

Он мешал его долго, так что всё масло растаяло без остатка. И теперь чай был похож на куриный бульон.

Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту.

И хотя Лёля была чрезвычайно заинтересована, что произойдёт дальше и что будет делать папин начальник, когда он глотнёт эту бурду, но всё-таки она немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику: не пейте.

Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала.

И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал смотреть в рот папиному начальнику.

Между тем папин начальник поднёс стакан к своему рту и сделал большой глоток.

Но тут глаза его стали круглые от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своём стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плевать.

Наши родители спросили его:

– Что с вами произошло?

Папин начальник от испуга не мог ничего произнести.

Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан.

Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане.

Мама, попробовав этот чай, сказала:

– Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае.

Папа сказал:

– Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями.

Получив разрешение говорить, Лёля сказала:

– Минька грел масло над стаканом, и оно упало.

Тут Лёля, не выдержав, громко засмеялась.

Некоторые из гостей тоже засмеялись. А некоторые с серьёзным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы.

Папин начальник сказал:

– Ещё спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дёгтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был дёготь... Нет, эти дети доведут меня до сумасшествия, теперь мне это ясно.

Один из гостей сказал:

– Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее они никому не сказали об этом. И допустили выпить такой чай. И вот в чём их главное преступление.

Услышав эти слова, папин начальник воскликнул:

– Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай...

Лёля, перестав смеяться, сказала:

– Нам папа не велел за столом говорить. Вот поэтому мы и ничего не сказали.

Я, вытерев слёзы, пробормотал:

– Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то бы мы что-нибудь вам сказали.

Папа, улыбнувшись, сказал:

– Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь так же поступать – исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но всё это надо делать с умом. Если бы ничего не случилось, у вас была священная обязанность – молчать. Масло попало в чай или бабушка забыла закрыть кран у самовара – вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодарность. Всё надо делать с учётом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своём сердце. Иначе получится абсурд.

Мама сказала:

– Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох.

Бабушка сказала:

– Или, например, я всем налила по второму стакану чаю. А Лёле я не налила. Значит, я поступила правильно.

Тут все, кроме Лёли, засмеялись. А папа сказал:

– Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Просим вас, бабушка, налить Лёле чаю.

Тут все гости засмеялись. И мы с Лёлей зааплодировали.

Но папины слова я, пожалуй что, не сразу понял.

Зато впоследствии я понял и оценил эти слова.

И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во многих случаях жизни.

И в личных своих делах. И на войне. И даже, представьте себе, отчасти в моей работе.

В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров. И у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали. Но я увидел, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам.

В общем, эти папины слова я золотыми буквами записал в своём сердце.

И может быть, поэтому я стал сравнительно счастливым человеком. И людям, может быть, поэтому я принёс не так уж много огорчений.

ШВАРЦ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ
(1896-1958)

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и всё время отставал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению.

– Успею! – говорил он в конце первой четверти. – Во второй вас всех догоню.

А приходила вторая – он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. Всё «успею» да «успею».

И вот однажды пришёл Петя Зубов в школу, как всегда, с опозданием. Вбежал в раздевалку. Шлёпнул портфелем по загородке и крикнул:

– Тётя Наташа! Возьмите моё пальтишко!

А тётя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок:

– Кто меня зовёт?

– Это я, Петя Зубов, – отвечает мальчик.

– А почему у тебя сегодня голос такой хриплый? – спрашивает тётя Наташа.

– А я и сам удивляюсь, – отвечает Петя. – Вдруг охрипни с того ни с сего.

Вышла тётя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю да как вскрикнет:

– Ой!

Петя Зубов тоже испугался и спрашивает:

– Тётя Наташа, что с вами?

– Как что? – отвечает тётя Наташа. – Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы, должно быть, его дедушка.

– Какой же я дедушка? – спрашивает мальчик. – Я – Петя, ученик третьего класса.

– Да вы посмотрите в зеркало! – говорит тётя Наташа.

Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Морщины покрыли сеткою лицо.

Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода.

Крикнул он басом:

– Мама! – и выбежал прочь из школы. Бежит он и думает: «Ну, уж если и мама меня не узнает, тогда всё пропало».

Прибежал Петя домой и позвонил три раза. Мама открыла ему дверь.

Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.

– Вам кого, бабушка? – спросила мама наконец.

– Ты меня не узнаёшь? – прошептал Петя.

– Простите, нет, – ответила мама. Отвернулся бедный Петя и пошёл куда глаза глядят.

Идёт он и думает:

«Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей... И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики – те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут – ведь я всего только три года работал. Да и как работал – на двойки да на тройки. Что же со мною будет? Бедный я старик! Несчастный я мальчик! Чем же всё это кончится?»

Так Петя думал и шагал, шагал и думал и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шёл он по лесу, пока не стемнело.

«Хорошо бы отдохнуть», – подумал Петя и вдруг увидел, что в стороне, за ёлками, белеет какой-то домик. Вошёл Петя в домик – хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола –

четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу горою навалено сено.

Лёг Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утёр слёзы бородой и уснул.

Просыпается Петя – в комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом. А вокруг стола сидят ребята – два мальчика и две девочки. Большие, окованные медью счёты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут:

– Два года, да ещё пять, да ещё семь, да ещё три... Это вам, Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, Марфа Васильевна, а это ваши, Пантелей Захарович.

Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они, и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке?

Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он.

Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом! Вот ведь как, оказывается, устроено на свете: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные дети и сами этого не заметили: ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята – старыми стариками.

Как быть?

Что делать?

Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости?

Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать

счёты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счёты и подошёл к ходикам. Покрутил стрелки, подёргал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защёлкал на счётах. Считал, считал он, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и ещё раз проверил, сколько получилось у него.

Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко:

– Господа волшебники! Знайте – ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, ещё могут помолодеть.

– Как? – воскликнули волшебники.

– Сейчас скажу, – ответил Сергей Владимирович.

Он вышел на цыпочках из домика, обошёл его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой.

Петя Зубов замер, как мышка.

Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко:

– К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.

Помолчали волшебники.

Потом Ольга Капитоновна сказала:

– Откуда им всё это узнать?

А Пантелей Захарович проворчал:

– Не придут они сюда к двенадцати часам ночи. Хоть на минуту, да опоздают.

А Марфа Васильевна пробормотала:

– Да куда им! Да где им! Эти лентяи до семидесяти семи и сосчитать не сумеют, сразу собьются.

– Так-то оно так, – ответил Сергей Владимирович. – А всё-таки пока что держите ухо востро. Если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки – нам тогда и с места не сдвинуться. Ну, а пока нечего время терять – идём на работу.

И волшебники, спрятав счёты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики.

Дождлся Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика. И, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников.

Город ещё не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах, только милиционеры стояли на постах. Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел наконец Петя Зубов – идёт не спеша по улице старушка с большой корзинкой.

Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, бабушка, вы не школьница?

– Что, что? – спросила старушка сурово.

– Вы не третьеклассница? – прошептал Петя робко.

А старушка как застучит ногами да как замахнётся на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унёс. Отдышался он немного – дальше пошёл. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди. Грохочут грузовики – скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел всё это Петя Зубов и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать.

Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно – настоящие, не третьеклассники.

Вот старик с портфелем. Наверное, учитель. Вот ста-

рик с ведром и кистью – это маляр. Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик – начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну.

Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей, – нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен.

Ровно в полдень зашёл Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть.

И вдруг вскочил.

Увидел он: сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет.

Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.

– Подожду! – сказал он сам себе. – Посмотрю, что она дальше делать будет.

А старушка перестала вдруг плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из одного кармана газету, а из другого кусок ситного с изюмом. Развернула старушка газету – Петя ахнул от радости: «Пионерская правда»! – и принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает.

Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный и вдруг что-то увидела в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу.

Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтёрла его старательно платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трёшки.

Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит:

– Бабушка! Честное слово, вы школьница!

Старушка подпрыгнула от радости, схватила

Петю за руки и отвечает:

– Верно, верно! Я ученица третьего класса Маруся Поспелова. А вы кто такой?

Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят: за дровяным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек.

Бросились Петя и Маруся к ней.

– Бабушка! Вы школьница?

– Школьница, – отвечает старушка. – Ученица третьего класса Наденька Соколова. А вы кто такие?

Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища.

Но он как сквозь землю провалился. Куда только ни заходили старики – и во дворы, и в сады, и в детские театры, и в детские кино, и в Дом Занимательной Науки – пропал мальчик, да и только.

А время идёт. Уже стало темнеть. Уже в нижних этажах домов зажётся свет. Кончается день.

Что делать? Неужели всё пропало?

Вдруг Маруся закричала:

– Смотрите! Смотрите!

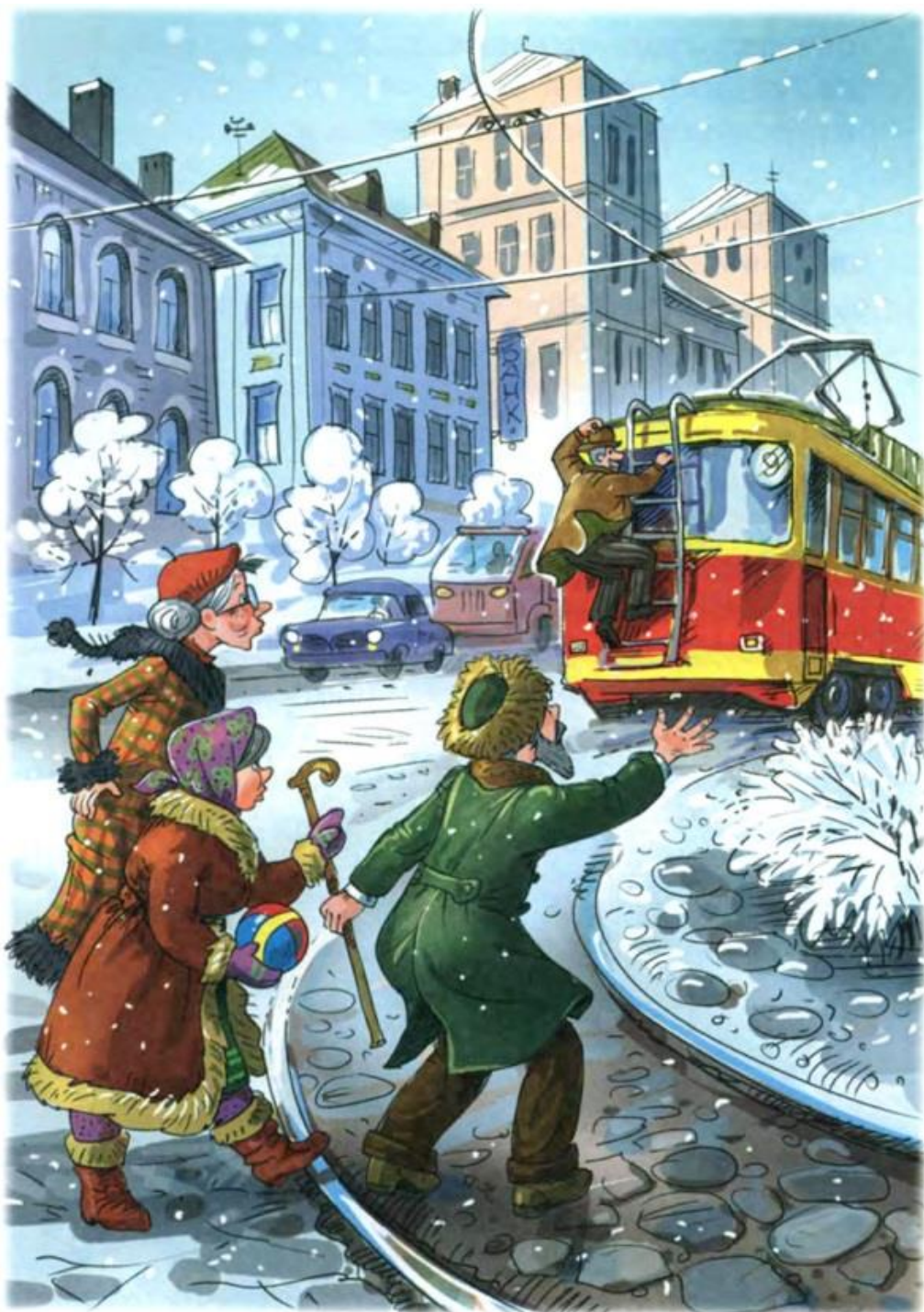
Посмотрели Петя и Наденька и вот что увидели: летит трамвай, девятый номер. А на «колбасе» висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо, борода развевается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и в ус не дует!

Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье, зажётся на перекрёстке красный огонь, остановился трамвай.

Схватили ребята «колбасника» за полы, оторвали от «колбасы».

– Ты школьник? – спрашивают.

– А как же? – отвечает он. – Ученик второго класса Зайцев Вася. А вам чего?



Шварц Е.Л.
«Сказка о потерянном времени»

Рассказали ему ребята, кто они такие.

Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу.

Какие-то школьники ехали в этом же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место.

– Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки.

Смутились старики, покраснели и отказались.

А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают:

– Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдохайте.

Тут, к счастью, подошёл трамвай к лесу, соскочили наши старики – и в чашу бегом.

Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу.

Наступила ночь, тёмная, тёмная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят.

– Ах, время, время! – говорит Петя. – Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику – боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь.

Совсем выбились из сил старички. Но, на их счастье, подул ветер, очистилось небо от туч, и засияла на небе полная луна.

Вылез Петя Зубов на берёзу и увидел – вон он, домик, в двух шагах белеют его стены, светятся окна среди густых ёлок.

Спустился Петя вниз и шепнул товарищам:

– Тише! Ни слова! За мной!

Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно. Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время.

– Они спят! – сказала Маруся.

– Тише! – прошептал Петя.

Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам.

Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и – раз, два, три – закрутил их обратно, справа налево.

С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут. Вот превратились они во взрослых людей, вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щёки.

– Поднимите меня, – закричал Петя. – Я делаюсь маленьким, я не достаю до стрелок! Тридцать один, тридцать два, тридцать три!

Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сторбленными старичками. Всё ближе пригибало их к земле, всё ниже становились они. И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их не было на свете.

Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. С бою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время.

Они-то спаслись, но ты помни: человек, который напрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.



ПЛАТОНОВ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ
(1899-1951)

СУХОЙ ХЛЕБ

1

Жил в деревне Рогачёвке мальчик Митя Климов семи лет от роду. Отца у него не было, отец его умер на войне от болезни, теперь у него осталась одна мать. Был у Мити Климова ещё дедушка, да он умер от старости ещё до войны, и лица его Митя не помнил; помнил он только доброе тепло у груди деда, что согревало и радовало Митю, помнил грустный, глухой голос, звавший его. А теперь не стало того тепла и голос тот умолк. «Куда ушёл дедушка?» – думал Митя. Смерти он не понимал, потому что он нигде не видел её. Он думал, что и брёвна в их избе, и камень у порога тоже живые, как люди, как лошади и коровы, только они спят.

– А где дедушка? – спрашивал Митя у матери. – Он спит в земле?

– Он спит, – говорила мать.

– Он умирался? – спрашивал Митя.

– Умирался, – отвечала мать. – Он всю жизнь землю пахал, а зимой плотничал, зимой он сани делал в кооперацию и лапти плёл; всю жизнь ему спать было некогда.

– Мама, разбуди его! – просил Митя.

– Нельзя. Он осерчает.

– А папа спит?

– И папа спит.

– У них ночь?

– У них ночь, сынок.

– Мама, а ты никогда не уморишься? – спрашивал Митя и с боязнью смотрел на материнское лицо.

– Нет, чего мне, сынок, я никогда не уморюсь. Я здоровая, я не старая... Я тебя ещё долго буду растить, а то ты у меня маленький.

И Митя боялся, что мама его уморится, устанет работать и тоже уснёт, как уснули дед и отец.

Мать теперь целый день ходила по полю за плугом. Два вола волокли плуг, а мать держала ручки плуга и кричала на волов, чтоб они шли, а не останавливались и не дремали. Мать была большая, сильная: под её руками лемех плуга выворачивал землю. Митя ходил следом за плугом и тоже покрикивал на волов, чтобы не скучать без матери.

В тот год лето было сухое. Горячий ветер дул в полях с утра до вечера, и в этом ветре летели языки чёрного пламени, будто ветер сдувал огонь с солнца и нёс его по земле. В полдень всё небо застилала мгла; огненный зной палил землю и обращал её в мёртвый прах, а ветер подымал в вышину тот прах, и он застил солнце. На солнце можно было тогда смотреть глазами, как на луну, плывущую в тумане.

Мать Мити пахала паровое поле. Митя ходил за матерью и время от времени носил воду из колодца на пашню, чтобы мать не мучилась от жажды. Он приносил каждый раз половину ведра; мать сливала воду в бадью, что стояла на пашне, и, когда набиралась полная бадья, она поила волов, чтобы они не затамились и пахали. Митя видел, как тяжело было матери, как она упиралась в плуг впереди себя, когда слабели волы. И Митя захотел скорее стать большим и сильным, чтобы пахать землю вместо матери, а мать пусть отдыхает в избе.

Подумав так, Митя пошёл домой. Мать ночью испекла хлеба и оставила их на лавке, покрыв от мух чистым рушником. Митя отрезал половину ковриги и начал есть. Есть ему не хотелось, да нужно было: он хотел скорее вырасти большим, скорее войти в силу и пахать землю. Митя думал, что от хлеба он скорее вырастет, только надо съесть его много. И он ел хлебную мякоть и хлебную корку; сперва он ел в охоту, а потом стал давиться от сытости;

хлеб из его рта хотел выйти обратно, а он запихивал его пальцами и терпеливо жевал. Вскоре у него рот уморился жевать, челюсти в щеках заболели от работы, и Митя захотел спать. Но спать ему не надо было. Ему надо есть много и расти большим. Он выпил кружку воды, съел ещё капустную кочерыжку и опять стал есть хлеб. Доевши половину ковриги, Митя снова попил воды и стал есть печёную картошку из горшка, макая её в соль. Картошку он съел только одну, а вторую взял в руку, макнул в соль и заснул.

Вечером мать пришла с пахоты. Видит она: спит её сын на лавке, голову положил на ковригу свежего хлеба и храпит, как большой мужик. Мать раздела Митю, осмотрела его – не искусал ли его кто, глядит – живот у него как ба-рабан.

Всю ночь Митя храпел, брыкался ногами и бормотал во сне. А наутро проснулся, жил весь день не евши, ничего ему не хотелось, одну только воду пил.

С утра Митя ходил по деревне, потом пошёл на пашню к матери и всё время поглядывал на встречных и прохожих людей: не замечают ли они, что он вырос. Никто не смотрел на Митю с удивлением и не говорил ему ничего. Тогда он посмотрел на свою тень, не длиннее ли она стала. Тень его словно бы стала больше, чем вчера, однако немного, на самую малость.

– Мама, – сказал Митя, – давай я пахать буду, мне пора!

Мать ответила ему:

– Обожди! Придёт и твоя пора пахать! А сейчас твоя пора не пришла, ты малолетний, ты маломощный ещё, тебе расти и кормиться ещё надо, и я тебя буду кормить!

Митя осерчал на мать и на всех людей, что он меньше их.

– Не хочу я кормиться, я тебя кормить хочу!

Мать улыбнулась ему, и от неё, от матери, всё стало

вдруг добрым вокруг: сопящие потные волы, серая земля, былинка, дрожащая на жарком ветру, и незнакомый старик, бредущий по меже. Огляделся Митя, и ему показалось, что отовсюду на него смотрят добрые, любящие его глаза, и вздрогнуло его сердце от радости.

– Мама! – воскликнул Митя. – А что мне надо делать? А то я тебя люблю.

– А что тебе делать! – сказала мать. – Живи, вот тебе работа. Думай о дедушке, думай об отце и обо мне думай.

– А обо мне ты тоже думаешь?

– О тебе я тоже думаю – один ты у меня, – ответила мать. – Ой, лешие! Чего стали? – сказала она волам. – А ну, вперёд! Не евши, что ль, жить будем?

2

В родительском дворе, где жил Митя Климов, был старый сарай. Сарай был покрыт досками, и доски стали старые от времени, по ним уже давно рос зелёный мох. А сам сарай ушёл с одной стороны наполовину в землю и походил на согнувшегося старика. В тёмном углу того сарая лежали старые, давние вещи. Туда и отец складывал, что ему нужно было, там и дед хранил, что ему одному было дорого и никому уже не требовалось. Митя любил ходить в тот тёмный угол сарая-старика и трогать там ненужные вещи. Он брал топор, весь иззубренный, ржавый и негодный, глядел на него и думал: «Его дедушка в руках держал, и я держу». Он увидел там деревянную снасть, похожую на корягу, и не знал, что это такое. Мать тогда сказала Мите: это была соха, ею дедушка пахал землю. Митя нашёл там ещё колесо от домашней прядки и картинку, на которой был нарисован страшный старик, глядящий из облака на землю. Там же валялся кочедык: он был нужен дедушке, когда он плёл лапти себе и своим детям. Там ещё много было добра, и Митя трогал руками забытые предметы, спящие теперь в сумраке сарая; мальчик думал о них,

он думал о том, как они жили давно в старинное время; тогда ещё Мити не было на свете, и всем скучно было, что его нету.

Нынче Митя нашёл в сарае твёрдую дубовую палку: на одном конце её был корень, согнутый книзу и острый, а другой конец был гладкий. Митя не знал, что это было. Может, дедушка рыхлил землю, как тяпкой, этим острым дубовым корнем или ещё что-нибудь работал. Мать говорила, он всегда работал и ничего не боялся. Митя взял эту дедушкину дубовую тяпку и отнёс её в избу. Может быть, она ему сгодится: дедушка ею работал и он будет.

3

К самому пряслу Климова двора подходило колхозное поле. На поле была посеяна рожь рядами. Каждый день Митя ходил к матери через это хлебное поле и видел, как рожь морилась жарою и умирала: малые былинки ржи лишь изредка стояли живыми, а многие уже поникли за-мертво к земле, откуда вышли на свет. Митя пробовал поднимать иссохшие хлебные былинки, чтоб они жили опять, но они жить не могли и клонились, как сонные, на спёкшуюся горячую землю.

– Мама, – говорил он, – рожь от жары умаривается?

– Умаривается, сынок. Дождей-то ведь не было и теперь нету, а хлеб не железный, он живой.

– А роса есть! – сказал Митя. – Она по утрам бывает.

– А чего роса! – ответила мать. – Роса сохнет скоро; земля вся поверху спеклась, роса вглубь не проходит.

– Мама, а как же быть-то без хлеба?

– Незнамо, как и быть... Должно, помощь тогда будет, мы в государстве живём.

– А лучше пусть в колхозе хлеб растёт, пусть роса в землю проходит.

– Так бы оно лучше было, да хлеб без дождя не рождается.

– Он не вырастет большой, он спит маленький! – произнёс Митя; он скучал о тех, кто спит.

Он пошёл один домой, а мать осталась на пашне. Дома Митя взял дедушкину деревянную тяпку, погладил её рукою – дедушка тоже, должно быть, гладил её, – положил тяпку на плечо и пошёл на колхозное озимое поле, что было за пряслом. Там он стал рыхлить тяпкой спёкшуюся землю промеж рядов уснувших ржаных былинки. Митя понимал, что хлебу вольнее будет дышать, когда земля станет рыхлой. А ещё ему хотелось, чтобы ночная и утренняя роса прошла сверху между комочками земли в самую глубину, до каждого корня ржаного колоска. Тогда роса смочит там почву, корни станут кормиться из земли, а хлебная былинка проснётся и будет жить.

Митя ударил нечаянно тяпкой возле самого хлебного стебелька, и стебелёк тот сломался и поник.

– Нельзя! – вскричал Митя самому себе. – Ты что делаешь!

Он оправил стебелёк, уставил его в землю и стал теперь мотыжить землю лишь посредине междурядья, чтобы не поранить хлебных корней. Потом он положил тяпку и начал руками копать и рыхлить землю у самых корней хлеба. Корни были усохшие, слабые. Мать говорила про них, что они малодушные, и Митя осторожно ощупывал пальцами и разрыхлял почву вокруг каждого ржаного корешка, чтобы не сделать ему больно и чтобы роса напоила его.

Митя работал долго и ничего не видел, кроме земли у ослабевших, у дремлющих былинки.

Он опомнился, когда его окликнули. Митя увидел учительницу. Он не ходил в школу, мать сказала ему, что осенью отдаст его в школу, но Митя знал учительницу. Она была на войне, и у неё осталась целой одна правая рука; однако учительница Елена Петровна не горевала, что она калека; она всегда была весёлая, она знала всех детей на деревне и ко всем была добрая.



Платонов А.П.
«Сухой хлеб»

– Митя! Ты что тут копаешься? – спросила учительница.

– Хлеб пусть растёт! – сказал Митя. – Я хлебу помогаю, чтоб он жил.

– Как же ты помогаешь? А ну расскажи мне, Митя! Расскажи скорей, ведь сушь стоит!

– Он росу будет пить!

Учительница подошла к Мите и посмотрела на его работу.

– Тебе бы играть надо, тебе не скучно работать одному?

– Не скучно, – сказал Митя.

– А отчего тебе не скучно?.. Приходи завтра ко мне в школу, мы оттуда в лес на экскурсию с ребятами пойдём, и ты пойдёшь...

Митя не знал, что сказать, потом он вспомнил:

– Я маму всё время люблю, мне работать не скучно. Хлеб помирает, нам некогда.

Учительница Елена Петровна наклонилась к Мите, обняла его одной рукой и прижала к себе:

– Ах ты милый мой! Какое сердце у тебя – маленькое, а большое!.. Знаешь что, ты тяпкой будешь мотыжить, а я пальцами у корней буду копать, а то у меня рука-то всего одна!

И Митя стал мотыжить землю дедушкиной тяпкой, а учительница, присев на корточки, начала копать почву пальцами у самых хлебных корней.

На другой день учительница пришла на колхозное поле не одна: с нею пришло семеро детей, учеников первого и второго классов. Митя один уже работал деревянной тяпкой. Он вышел нынче спозаранку и осмотрел все хлебные былинки, возле которых он вчера разрыхлил землю.

Солнце поднялось, роса уже сошла, и ветер с огнём дул по земле. Однако те ржаные колоски, что возделал Митя, нынче словно бы повеселели.

– Они просыпаются! – обрадованно сказал Митя учительнице. – Они проснутся.

– Конечно, проснутся, – согласилась учительница. – Мы их разбудим!

Она увела учеников с собой, и Митя остался один.

«Мама пашет, и я хлебу расти помогаю, – думал Митя. – У учительницы одна рука только, а то бы она тоже работала».

Учительница Елена Петровна взяла в колхозе маленькие узкие тяпки и вернулась со всеми мальчиками и девочками обратно. Она показала детям, как работает Митя, как надо делать, чтобы рос сухой хлеб, – она сама стала работать одной рукой, и все дети склонились к ржаным былинкам, чтобы помочь им жить и расти.

КЕДРИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
(1907-1945)

БАБЬЕ ЛЕТО

Наступило Бабье лето –
Дни прощального тепла.
Поздним солнцем отогрета,
В щёлке муха ожила.

Солнце! Что на свете слаже
После зябкого денька?..
Паутинок лёгких пряжа
Обвилась вокруг сучка.

Завтра хлынет дождик быстрый,
Тучей солнце заслоня.
Паутинкам серебристым
Жить осталось два-три дня.

Сжался, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!
Пожалей нас, Бабье лето,
Паутинки эти – мы.



ДРАГУНСКИЙ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ
(1913-1972)

ЧТО ЛЮБИТ МИШКА

Один раз мы с Мишкой вошли в зал, где у нас бывают уроки пения. Борис Сергеевич сидел за своим роялем и что-то играл потихоньку. Мы с Мишкой сели на подоконник и не стали ему мешать, да он нас и не заметил вовсе, а продолжал себе играть, и из-под пальцев у него очень быстро выскакивали разные звуки. Они разбрызгивались, и получалось что-то очень приветливое и радостное. Мне очень понравилось, и я бы мог долго так сидеть и слушать, но Борис Сергеевич скоро перестал играть. Он закрыл крышку рояля, и увидел нас, и весело сказал:

– О! Какие люди! Сидят, как два воробья на веточке! Ну, так что скажете?

Я спросил:

– Это вы что играли, Борис Сергеевич?

Он ответил:

– Это Шопен. Я его очень люблю.

Я сказал:

– Конечно, раз вы учитель пения, вот вы и любите разные песенки.

Он сказал:

– Это не песенка. Хотя я и песенки люблю, но это не песенка. То, что я играл, называется гораздо большим словом, чем просто «песенка».

Я сказал:

– Каким же? Словом-то?

Он серьезно и ясно ответил:

– Му-зы-ка. Шопен – великий композитор. Он сочинил чудесную музыку. А я люблю музыку больше всего на свете.

Тут он посмотрел на меня внимательно и сказал:

– Ну, а ты что любишь? Больше всего на свете?

Я ответил:

– Я много чего люблю.

И я рассказал ему, что я люблю. И про собаку, и про стrogанье, и про слонёнка, и про красных кавалеристов, и про маленькую лань на розовых копытцах, и про древних воинов, и про прохладные звёзды, и про лошадиные лица, всё-всё...

Он выслушал меня внимательно, у него было задумчивое лицо, когда он слушал, а потом он сказал:

– Ишь! А я и не знал. Честно говоря, ты ведь ещё маленький, ты не обижайся, а смотри-ка – любишь как много! Целый мир.

Тут в разговор вмешался Мишка. Он надулся и сказал:

– А я ещё больше Дениски люблю разных разностей! Подумаешь!

Борис Сергеевич рассмеялся:

– Очень интересно! Ну-ка, поведай тайну своей души. Теперь твоя очередь, принимай эстафету! Итак, начинай! Что же ты любишь?

Мишка поёрзал на подоконнике, потом откашлялся и сказал:

– Я люблю булки, плюшки, батоны и кекс! Я люблю хлеб, и торт, и пирожные, и пряники, хоть тульские, хоть медовые, хоть глазурованные. Сушки люблю тоже, и баранки, бублики, пирожки с мясом, повидлом, капустой и с рисом.

Я горячо люблю пельмени и особенно ватрушки, если они свежие, но чёрствые тоже ничего. Можно овсяное печенье и ванильные сухари.

А ещё я люблю кильки, сайру, судака в маринаде, бычки в томате, частички в собственном соку, икру баклажанную, кабачки ломтиками и жареную картошку.

Варёную колбасу люблю прямо безумно, если докторская, – на спор, что съем целое кило! И столовую люблю,

и чайную, и зельц, и копчёную, и полукопчёную, и сырокопчёную! Эту вообще я люблю больше всех. Очень люблю макароны с маслом, вермишель с маслом, рожки с маслом, сыр с дырочками и без дырочек, с красной коркой или с белой – всё равно.

Люблю вареники с творогом, творог солёный, сладкий, кислый; люблю яблоки, тёртые с сахаром, а то яблоки одни самостоятельно, а если яблоки очищенные, то люблю сначала съесть яблочко, а уж потом, на закуску, – кожуру!

Люблю печёнку, котлеты, селёдку, фасолевый суп, зелёный горошек, варёное мясо, ириски, сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйца всмятку, вкрутую, в мешочке, могу и сырые. Бутерброды люблю прямо с чем попало, особенно если толсто намазать картофельным пюре или пшённой кашей. Так... Ну, про халву говорить не буду – какой дурак не любит халвы? А ещё я люблю утятину, гусятину и индютину. Ах, да! Я всей душой люблю мороженое. За семь, за девять. За тринадцать, за пятнадцать, за девятнадцать. За двадцать две и за двадцать восемь.

Мишка обвёл глазами потолок и перевёл дыхание. Видно, он уже здорово устал. Но Борис Сергеевич пристально смотрел на него, и Мишка поехал дальше.

Он бормотал:

– Крыжовник, морковку, кету, горбушу, репу, борщ, пельмени, хотя пельмени я уже говорил, бульон, бананы, хурму, компот, сосиски, колбасу, хотя колбасу тоже говорил...

Мишка выдохся и замолчал. По его глазам было видно, что он ждёт, когда Борис Сергеевич его похвалит. Но тот смотрел на Мишку немного недовольно и даже как будто строго. Он тоже словно ждал чего-то от Мишки: что, мол, Мишка ещё скажет. Но Мишка молчал. У них получилось, что они оба друг от друга чего-то ждали и молчали.

Первый не выдержал Борис Сергеевич.

– Что ж, Миша, – сказал он, – ты многое любишь, спору нет, но всё, что ты любишь, оно какое-то одинаковое, чересчур съедобное, что ли. Получается, что ты любишь целый продуктовый магазин. И только... А люди? Кого ты любишь? Или из животных?

Тут Мишка весь встрепенулся и покраснел.

– Ой, – сказал он смущённо, – чуть не забыл! Ещё – котят! И бабушку!



ДЕВОЧКА НА ШАРЕ

Один раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шёл туда, потому что мне уже скоро восемь лет, а я был в цирке только один раз, и то очень давно. Главное, Алёнке всего только шесть лет, а вот она уже успела побывать в цирке целых три раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пришли в цирк, и я думал, как хорошо, что уже большой и что сейчас, в этот раз, всё увижу как следует. А в тот раз я был маленький, я не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда на арену вышли

акробаты и один полез на голову другому, я ужасно расхохотался, потому что думал, что это они так нарочно делают, для смеху, ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случилось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. И ещё в тот раз я всё больше смотрел на оркестр, как они играют – кто на барабанах, кто на трубе, – и дирижёр машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют как хотят. Это мне очень понравилось, но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. И я их не видел и пропускал самое интересное. Конечно, я в тот раз ещё совсем глупый был.

И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковёр, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом закупили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво – в красные костюмы с жёлтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошёл их начальник в чёрном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглёр, и началась потеха. Он кидает шарики, по десять или по сто штук вверх, и ловит их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть... Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглёр кинул этот мячик к нам в публику, и тут уж началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку, а Валерка – в Мишку, а Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засве-

тил прямо в дирижёра, но в него не попал, а попал в барабан! Бамм! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглёру, но мяч не долетел, он просто угодил одной красивой тётеньке в причёску, и у неё получилась не причёска, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли.

И когда жонглёр убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатили огромный голубой шар, и дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего, и оркестр опять заиграл что-то очень весёлое, только не так быстро, как раньше.

И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У неё были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у неё были длинные руки; она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для неё выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него, но шар завертелся под её ногами, и она на нём вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а эта какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вёз её на себе: она могла ехать на нём и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь! Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла, и я подумал, что она, наверно, и есть Дюймовочка, такая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это всё было как в сказке. И

тут ещё потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте, и она медленно плыла по кругу, и светилась, и звенела, и это было удивительно – я за всю свою жизнь не видел ничего такого подобного.

И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «браво!», и я тоже кричал «браво!». А девочка соскочила со своего шара и побежала вперёд, к нам поближе, и вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния, и ещё, и ещё раз, и всё вперёд и вперёд. И мне показалось, что вот она сейчас разобьётся о барьер, и я вдруг очень испугался, и вскочил на ноги, и хотел бежать к ней, чтобы подхватить её и спасти, но девочка вдруг остановилась как вкопанная, раскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня, и я увидел, что она увидела, что я её вижу и что я тоже вижу, что она видит меня, и она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел подбежать к ней, и я протянул к ней руки. А она вдруг послала всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать, но мне было не до него. Я всё время думал про девочку на шаре, какая она удивительная и как она помахала мне рукой и улыбнулась, и больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он мне портил мою девочку: она всё ещё мне представлялась на своём голубом шаре.

А потом объявили антракт, и все побежали в буфет пить сидро, а я тихонько спустился вниз и подошёл к занавеске, откуда выходили артисты. Мне хотелось ещё раз посмотреть на эту девочку, и я стоял у занавески и глядел – вдруг она выйдет? Но она не выходила.

А после антракта выступали львы, и мне не понрави-

лось, что укротитель всё время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол рядом и ходил по львам ногами, как по ковру, а у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних пампасах и оглашать окрестности грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население.

А так получается не лев, а просто я сам не знаю что.

И когда кончилось и мы пошли домой, я всё время думал про девочку на шаре. А вечером папа спросил:

– Ну как? Понравилось в цирке?

Я сказал:

– Папа! Там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре. Такая славная, лучше всех! Она мне улыбнулась и махнула рукой! Мне одному, честное слово! Понимаешь, папа? Пойдём в следующее воскресенье в цирк! Я тебе её покажу!

Папа сказал:

– Обязательно пойдём. Обожаю цирк!

А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз.

...И началась длинная неделя, и я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался, и всё равно каждый день думал, когда же придёт воскресенье, и мы с папой пойдём в цирк, и я снова увижу девочку на шаре, и покажу её папе, и, может быть, папа пригласит её к нам в гости, и я подарю ей пистолет-браунинг и нарисую корабль на всех парусах.

Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах, и кричали, и курили, и пили чай, и сидели допоздна, и после них у мамы разболелась голова, а папа сказал мне:

– В следующее воскресенье... Даю клятву Верности и Чести.

И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил ещё одну неделю. И папа сдержал своё слово: он пошёл со мной в цирк и купил билеты во второй ряд, и я радовался, что мы так близко сидим, и представление началось, и я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, всё время объявлял разных других артистов, и они выходили и выступали по-всякому, но девочка всё не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения, мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своём серебряном костюме с воздушным плащом и как она ловко бегаёт по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе:

– Сейчас он объявит её!

Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого, и у меня даже ненависть к нему появилась, и я всё время говорил папе:

– Да ну его! Это ерунда на постном масле! Это не то!

А папа говорил, не глядя на меня:

– Не мешай, пожалуйста. Это очень интересно! Самое то!

Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз это ему интересно. Посмотрим, что он запоёт, когда увидит девочку на шаре. Небось подскочит на своём стуле на два метра в высоту...

Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул:

– Ант-рра-кт!

Я просто ушам своим не поверил! Антракт? А почему? Ведь во втором отделении будут только львы! А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала и у неё сотрясение мозга?

Я сказал:

– Папа, пойдём скорей, узнаем, где же девочка на шаре!

Папа ответил:

– Да, да! А где же твоя эквилибристка? Что-то не видать! Пойдём-ка купим программку!..

Он был весёлый и довольный. Он огляделся вокруг, засмеялся и сказал:

– Ах, люблю... Люблю я цирк! Самый запах этот... Голову кружит...

И мы пошли в коридор. Там толклось много народу, и продавались конфеты и вафли, и на стенках висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли наконец контролёршу с программками. Папа купил у неё одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролёрши:

– Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?

– Какая девочка?

Папа сказал:

– В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?

Я стоял и молчал.

Контролёрша сказала:

– Ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она. Уехала. Что же вы поздно хватились?

Я стоял и молчал.

Папа сказал:

– Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Т. Воронцову, а её нет.

Контролёрша сказала:

– Да она уехала... Вместе с родителями... Родители у неё «Бронзовые люди – Два-Яворс». Может, слышали? Очень жаль. Вчера только уехали.

Я сказал:

– Вот видишь, папа...

– Я не знал, что она уедет. Как жалко... Ох ты боже мой!.. Ну что ж... Ничего не поделаешь...

Я спросил у контролёрши:

– Это, значит, точно?

Она сказала:

– Точно.

Я сказал:

– А куда, неизвестно?

Она сказала:

– Во Владивосток.

Вон куда. Далеко. Владивосток. Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо.

Я сказал:

– Какая даль.

Контролёрша вдруг заторопилась:

– Ну идите, идите на места, уже гасят свет!

Папа подхватил:

– Пошли, Дениска! Сейчас будут львы! Косматые, рычат – ужас! Бежим смотреть!

Я сказал:

– Пойдём домой, папа.

Он сказал:

– Вот так раз...

Контролёрша засмеялась. Но мы подошли к гардеробу, и я протянул номер, и мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго, потом я сказал:

– Владивосток – это на самом конце карты. Туда, если поездом, целый месяц проедешь...

Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли ещё немного, и я вдруг вспомнил про самолёты и сказал:

– А на «ТУ-104» за три часа – и там!

Но папа всё равно не ответил. Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал:

– Зайдём в кафе-мороженое. Смутузим по две порции, а?

Я сказал:

– Не хочется что-то, папа.

– Там подают воду, называется «Кахетинская». Нигде в мире не пил лучшей воды.

Я сказал:

– Не хочется, папа.

Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шёл очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шёл так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьёзное и грустное лицо.



ТУШНОВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
(1915-1965)

СИНИЦЫ

Я с детства зверей любила,
котов за хвост не таскала,
а если синиц ловила,
так вскорости отпускала.
Тоскливо мне видеть было,
как птицы о прутья бьются,
как шариками унылыми
дремлют, чтоб не проснуться.
А за окном завьюжило,
в сени снег задувало,
клетку я выносила,
дверку приоткрывала,
и ждала с нетерпеньем,
и прыгала, и смеялась,
как будто бы в то мгновенье
в синицу переселялась.
Как будто с ней в путь отправилась...
И ещё одно допускаю:
мне моё всемогущество нравилось, –
вот поймала и отпускаю!
Может, долго не поняла бы
я без этих пичужек славных, –
отпускать – это счастье сильных,
взаперти держать – мука слабых.

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО УЧИТЕЛЯ...

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам так и дорого
Имя нашего учителя.

СТИХИ О ДОЧЕРИ

Наташе

...Есть девочка. Зелёные глаза,
лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
при ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймёт. С недетской теплотой
ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
Нельзя при ней, при маленькой такой, –
ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе
и нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь – её улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...

А круг всё ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пёстрые нужны.
Упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное «нельзя»,
всё льнёт ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая, —
мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки и,
Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
ещё успеешь в жизни позабыть.

РУБЦОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1936-1971)

СЕНТЯБРЬ

Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенях,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!
И никому не известно
То, что, с зимой говоря,
В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября...

ХЛЕБ

Положил в котомку сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял.
– Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль! –
Всё же бабка сунула краюху!
Всё на свете зная наперёд,
Так сказала:
– Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несёт...

ПИВОВАРОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
(1939-1986)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ И ПРИВЕТ

Вы идёте в магазин?
Вы не купите ли нам,
Ну, всего лишь только,
Скажем,
Помидоров килограмм?

Ах, большое вам спасибо!
Заодно купите лук,
А потом в починку сдайте
Наш поломанный утюг.

А когда домой пойдёте,
Не забудьте по пути
К нашей бабушке Марфуте
На минуточку зайти.

У старушки день рождения,
Подарите ей букет,
А от нас ей передайте
Поздравление и привет.



КАК МЕНЯ УЧИЛИ МУЗЫКЕ

Однажды мама пришла из гостей взволнованная. Она рассказала нам с папой, что дочка её подруги весь вечер играла на пианино. Замечательно играла! И польку играла, и песни со словами и без слов, и даже полонез Огинского.

– А полонез Огинского, – сказала мама, – это моя любимая вещь! И теперь я мечтаю, чтобы наша Люська гоже играла полонез Огинского!

У меня похолодело внутри. Я совсем не мечтала играть полонез Огинского!

Я о многом мечтала.

Я мечтала никогда в жизни не делать уроков.

Я мечтала научиться петь все песни на свете.

Я мечтала целыми днями есть мороженое.

Я мечтала лучше всех рисовать и стать художником.

Я мечтала быть красивой.

Я мечтала, чтобы у нас было пианино, как у Люськи. Но я совсем не мечтала на нём играть.

Ну, ещё на гитаре или на балалайке – туда-сюда, но только не на пианино.

Но я знала, что маму не переспоришь.

Мама привела к нам какую-то старушку. Это оказалась учительница музыки. Она велела мне что-нибудь спеть. Я спела «Ах вы, сени, мои сени». Старушка сказала, что у меня исключительный слух. Так начались мои мучения.

Только я выйду во двор, только мы начнём играть в лапту или в «штандр», как меня зовут: «Люся! Домой!» И я с нотной папкой тащусь к Марии Карловне.

Мария Карловна учила меня играть «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок».

Дома я занималась у соседки. Соседка была добрая. У неё был рояль.

Когда я первый раз села за рояль разучивать «Как на тоненький ледок...», соседка села на стул и целый час

слушала, как я разучиваю. Она сказала, что очень любит музыку.

В следующий раз она уже не сидела рядом на стуле, а то входила в комнату, то выходила. Ну, а потом, когда я приходила, она сразу брала сумку и уходила на рынок или в магазин.

А потом мне купили пианино. Однажды к нам пришли гости. Мы пили чай. И вдруг мама сказала:

– А сейчас нам Люсенька что-нибудь сыграет на пианино.

Я поперхнулась чаем.

– Я ещё не научилась, – сказала я.

– Не хитри, Люська, – сказала мама. – Ты уже целых три месяца учишься.

И все гости стали просить – сыграй да сыграй.

Что было делать?

Я вылезла из-за стола и села за пианино. Я развернула ноты и стала по нотам играть «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок».

Я эту вещь играла очень долго. Я всё время забывала, где находятся ноты фа и ре, и везде их искала, и тыкала пальцем во все остальные ноты.

Когда я кончила играть, дядя Миша сказал:

– Молодец! Прямо Бетховен! – и захлопал в ладоши.

Я обрадовалась и говорю:

– А я ещё умею играть «На дороге жук, жук».

– Ну ладно, иди пить чай, – быстро сказала мама. Она была вся красная и сердитая.

А папа, наоборот, развеселился.

– Вот видишь? – сказал он маме. – Я же тебе говорил!

А ты – полонез Огинского...

Больше меня к Марии Карловне не водили.

СЕЛИВЕРСТОВ НЕ ПАРЕНЬ, А ЗОЛОТО!

Селиверстова в классе не любили. Он был противный.

У него уши красные были и торчали в разные стороны. Он тощий был. И злой. Такой злой, ужас!

Однажды он меня чуть не убил! Я в тот день была дежурной санитаркой по классу. Подошла к Селиверстову и говорю:

– Селиверстов, у тебя уши грязные! Ставлю тебе двойку за чистоту.

Ну что я такого сказала?! Так вы бы на него посмотрели!

Он весь побелел от злости. Кулаки сжал, зубами закрипел... И нарочно, изо всей силы, как наступит мне на ногу!

У меня нога два дня болела. Я даже хромала.

С Селиверстовым и до этого никто не дружил, а уж после этого случая с ним вообще весь класс перестал разговаривать. И тогда он знаете что сделал? Когда во дворе мальчишки стали играть в футбол, взял и проткнул футбольный мяч перочинным ножом.

Вот какой был этот Селиверстов!

С ним даже за одной партой никто не хотел сидеть! Бураков сидел, а потом взял и отсел.

А Сима Коростылёва не захотела с ним в пару становиться, когда мы в театр пошли. И он её так толкнул, что она прямо в лужу упала!

В общем, вам теперь ясно, какой это был человек. И вы, конечно, не удивитесь, что, когда он заболел, никто и не вспомнил о нём.

Через неделю Вера Евстигнеевна спрашивает:

– Ребята, кто из вас был у Селиверстова?

Все молчат.

– Как, неужели за всю неделю никто не навестил больного товарища?! Вы меня удивляете, ребята! Я вас прошу сегодня же навестить Юру!

После уроков мы стали тянуть жребий, кому идти. И, конечно, выпало мне!

Дверь мне открыла женщина с утюгом.

– Ты к кому, девочка?

– К Селиверстову.

– А-а, к Юрочке? Вот хорошо! – обрадовалась женщина. – А то он всё один да один.

Селиверстов лежал на диване. Он был укрыт вязаным платком. Над ним к дивану была приколотая салфетка с вышитыми розами. Когда я вошла, он закрыл глаза и повернулся на другой бок, к стене.

– Юрочка, – сказала женщина, – к тебе пришли.

Селиверстов молчал.

Тогда женщина на цыпочках подошла к Селиверстову и заглянула ему в лицо.

– Он спит, – сказала она шёпотом. – Он совсем ещё слабый!

И она наклонилась и ни с того ни с сего поцеловала этого своего Селиверстова. А потом она взяла стопку белья, включила утюг и стала гладить.

– Подожди немножко, – сказала она мне. – Он скоро проснётся. Вот обрадуется! А то всё один да один. Что же это, думаю, никто из школы не зайдёт?

Селиверстов зашевелился под платком.

«Ага! – подумала я. – Сейчас я всё скажу! Всё!»

Сердце у меня забилось от волнения. Я даже встала со стула.

– А знаете, почему к нему никто не приходит?

Селиверстов замер.

Мама Селиверстова перестала гладить.

– Почему?

Она глядела прямо на меня. Глаза у неё были красные, воспалённые. И морщин довольно много на лице. Наверное, она была уже немолодая женщина... И она смотрела на меня так... И мне вдруг стало её жалко. И я забормотала непонятно что:

– Да вы не волнуйтесь!.. Вы не подумайте, что вашего Юру никто не любит! Наоборот, его очень даже любят! Его все так уважают!..

Меня пот прошиб. Лицо у меня горело. Но я уже не могла остановиться.

– Просто нам столько уроков задают – совсем нету времени! А ваш Юра ни при чём! Он даже очень хороший! С ним все хотят дружить! Он такой добрый! Он просто замечательный!

Мама Селиверстова широко улыбнулась и снова взялась за утюг.

– Да, ты права, девочка, – сказала она. – Юрка у меня не парень, а золото!

Она была очень довольна. Она гладила и улыбалась.

– Я без Юры как без рук, – говорила она. – Пол он мне не даёт мыть, сам моет. И в магазин ходит. И за сестрёнками в детский сад бегают. Хороший он! Правда, хороший!

И она обернулась и с нежностью посмотрела на своего Селиверстова, у которого уши так и пылали.

А потом она заторопилась в детский сад за детьми и ушла. И мы с Селиверстовым остались одни.

Я перевела дух. Без неё мне было как-то спокойнее.

– Ну вот что, хватит придуриваться! – сказала я. – Садись к столу. Я тебе уроки объяснять стану.

– Проваливай, откуда пришла, – донеслось из-под платка.

Ничего другого я и не ждала.

Я раскрыла учебник и затараторила урок.

Я нарочно тараторила изо всех сил, чтобы побыстрее кончить.

– Всё. Объяснила! Вопросы есть?

Селиверстов молчал.

Я щёлкнула замком портфеля и направилась к дверям. Селиверстов молчал. Даже спасибо не сказал. Я уже взялась за ручку двери, но тут он опять вдруг завозился под своим платком.

– Эй, ты... Синицына...

– Чего тебе?

– Ты... это...

– Да чего тебе, говори скорее!

– ...Семечек хочешь? – вдруг выпалил Селиверстов.

– Чего? Каких семечек?!

– Каких-каких... Жареных!

И не успела я и слова сказать, как он выскочил из-под платка и босиком побежал к шкафу.

Он вынул из шкафа пузатый ситцевый мешочек и стал развязывать верёвку. Он торопился. Руки у него дрожали.

– Бери, – сказал он.

На меня он не глядел. Уши у него горели малиновым огнём.

Семечки в мешке были крупные, одно к одному. В жизни я таких семечек не видала!

– Чего стоишь? Давай бери! У нас много. Нам из деревни прислали.

И он наклонил мешок и как сыпанёт мне в карман прямо из мешка! Семечки дождём посыпались мимо.

Селиверстов охнул, кинулся на пол и стал их собирать.

– Мать придёт, ругаться будет, – бормотал он. – Она мне вставать не велела...

Мы ползали по полу и собирали семечки. Мы так торопились, что два раза стукнулись головами. И как раз когда мы подняли последнее семечко, в замке звякнул ключ...

Всю дорогу домой я щупала шишку на голове, грызла семечки и смеялась:

«Ну и чудак этот Селиверстов! И не такой уж он и тощий! А уши – уши у всех торчат. Подумаешь, уши!»

Целую неделю ходила я к Селиверстову.

Мы писали упражнения, решали задачи. Иногда я бегала в магазин за хлебом, иногда в детский сад.

– Хорошая у тебя подружка, Юра! Что же ты мне

раньше о ней ничего не рассказывал? Мог бы давно нас познакомить!

Селиверстов выздоровел.

Теперь он стал приходить ко мне делать уроки. Я познакомила его с мамой. Маме Селиверстов понравился.

И вот что я вам скажу: не такой уж он в самом деле плохой, Селиверстов!

Во-первых, он теперь учится хорошо, и Вера Евстигневна его хвалит.

Во-вторых, он больше ни с кем не дерётся.

В-третьих, он научил наших мальчишек делать змея с хвостом.

А в-четвёртых, он всегда ждёт меня в раздевалке, не то что Люська! И я всем так говорю:

– Вот видите, вы думали, Селиверстов плохой. А Селиверстов хороший! Селиверстов не парень, а золото!

Серия «Школьная библиотека»

**ХРЕСТОМАТИЯ
(ДЛЯ 3-го и 4-го КЛАССОВ)**

Для младшего школьного возраста

Составитель

Юдаева Марина Владимировна

Художник

Соколов Геннадий Валентинович

Главный редактор А. Алир

Технический редактор М.В.Юдаева

Компьютерная вёрстка И.Я.Николаенко

Корректор С.П.Мосейчук

Ответственный за выпуск С.А.Баварова

Подписано в печать 13.03.2013.

Формат 60х90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. п. л. 20.

Гарнитура «Школьная».

Тираж 25 000 экз. Заказ № 167.

Издательство «Самовар»

125047, Москва, ул. Александра Невского, д.1.

Информация о книгах на сайте www.knigi.ru

Оптовая продажа: ООО «Атберг 98»

(495) 925-51-39 www.atberg.aha.ru

Интернет-магазин: www.books-land.ru

Отпечатано в филиале «Тверской полиграфический комбинат
детской литературы» ОАО «Издательство «Высшая школа».

170040, Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

Тел.: +7(4822)44-85-98. Факс: +7(4822)44-61-51

© А.А.Ахматова, наследники, текст.

© П.П.Бажов, наследники, текст.

© М.А.Булатов, наследники, текст.

© В.Ю.Драгунский, наследники, текст.

© М.М.Зощенко, наследники, текст.

© Д.Б.Кедрин, наследники, текст.

© А.Н.Нечаев, наследники, текст.

© Б.Л.Пастернак, наследники, текст.

© К.Г.Паустовский, наследники, текст.

© И.М.Пивоварова, наследники, текст.

© А.П.Платонов, наследники, текст.

© М.М.Пришвин, наследники, текст.

© Н.М.Рубцов, наследники, текст.

© В.М.Тушнова, наследники, текст.

© М.И.Цветаева, наследники, текст.

© Е.Л.Шварц, наследники, текст.

© Издательство «Самовар», иллюстрации,
составление, серийное оформление.

ЕАС

Артикул К-ШБ-82
ISBN 978-5-9781-0468-4

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

Серия рекомендована
Департаментом
общего среднего образования
Министерства
общего и профессионального образования
Российской Федерации



Художник
Теннадий Соколов



9 785978 104684 >